

Анатолий ЕХАЛОВ



СВОИМ
УМОМ

СВОИМ УМОМ

Анатолий ЕХАЛОВ



СВОИМ УМОМ

Анатолий ЕХАЛОВ

Вологда

АРНИКА

2001



СВОИМ УМОМ

Анатолий ЕХАЛОВ

Люди события годы судьбы. Сборник рассказов о традициях, истории и современной жизни сельских жителей вологодской области.

...Вологодский характер — это великое мастерство строителей храмов и монастырей, которые и по сей день поражают своим величием и конструкторской мыслью... это особая жертвенность и героизм в минуты смертельной опасности для Родины... это и трудолюбие, особая сметка и находчивость, открытость души и особый поэтический настрой, многообразие талантов и нестяжательство...



Вологодский характер

Справедливо сказано, что все мы — родом из детства. Вот и мне давно уже за пятьдесят и должность вряд ли располагающая к мечтаньям и сентиментальности, но когда бывает очень трудно, когда начинает одолевать бессонница, я вспоминаю дом моего деда, чай из самовара с румяными пирогами, игры с братьями и сестрами на русской печке под овчинным полушубком, бабушкины сказки, мурлыкающих котят под боком, и тогда мир и покой воцаряются вокруг, а нынешние заботы и тревоги отступают.

Да... Печка была в доме центром Вселенной. Я в ней еще мывался. Бабушка заметет в ней, золу выгребет, соломки настелет — благодать...

А однажды я еще додумался тайник в печной трубе соорудить. Как и многие ребята, я увлекался тогда моделированием и дошел до ракет, для них потребовался порох. Так вот банку с порохом прятал в печной трубе. Только теперь с ужасом представляю, чем это могло кончиться.

Но беда случилась иная. Может быть, далеко не по нашей воле, но исторические корни русского народа были основательно подорваны. Разрушены церкви — храни-

тельницы не только веры, но и наших родословных; разрушена среда обитания крестьянства: традиционная архитектура и сами деревни — хранительницы русской культуры.

А без памяти, без исторического зрения, без опоры на тысячелетний опыт предков народ существовать не может. И поэтому, чтобы уцелеть в этом мире, мы должны бережно хранить свою историю, память своих предков.

Нам есть что вспоминать, есть чем гордиться. Можно с уверенностью сказать, что на протяжении веков на территории Вологодчины в силу множества причин сформировался особый вологодский характер, который нужно не только оберегать, сохранять, но и совершенствовать.

Не случайно Вологодчину называют Северной Фиваидой. Около восьмидесяти православных святых подвизалось на ее земле и просияло духовными здесь подвижниками. Это и преподобный Герасим, основатель Вологды, и преподобный Кирилл Белозерский, поставивший твердыню из духа и камня на Сиверском озере.

Наши славные мореходы и землепроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров достигли берегов Тихого океана и Северной Америки, тотмич Иван Кусков основал в Северной Калифорнии форт Росс, а карты побережий Аляски буквально испещрены именами вологодских мужиков, торивших сюда путь через тайгу и студеные моря во славу Отечества.

Одна только маленькая затерянная в лесах Тотьма снарядила в XVIII веке около двадцати морских экспедиций на Аляску, Алеутские, Командорские, Лисьи острова, оставив после каждой экспедиции по дивному храму в своем городе.

Вологодский характер — это великое мастерство строителей храмов и монастырей, которые и по сей день поражают своим величием и конструкторской мыслью.

Вологодский характер — это особая жертвенность и героизм в минуты смертельной опасности для Родины. Вспомним Белозерский полк, принявший на себя удар Мамаевой конницы на Куликовом поле и полностью сложивший там головы.

Мы гордимся вологжанами, беззаветно защищавшими Родину в годы Великой Отечественной войны и считавшимися на фронтах одними из самых лучших воинов.

Вологодский характер — это и трудолюбие, особая сметка и находчивость, открытость души и особый поэтический настрой, многообразие талантов и нестяжательство.

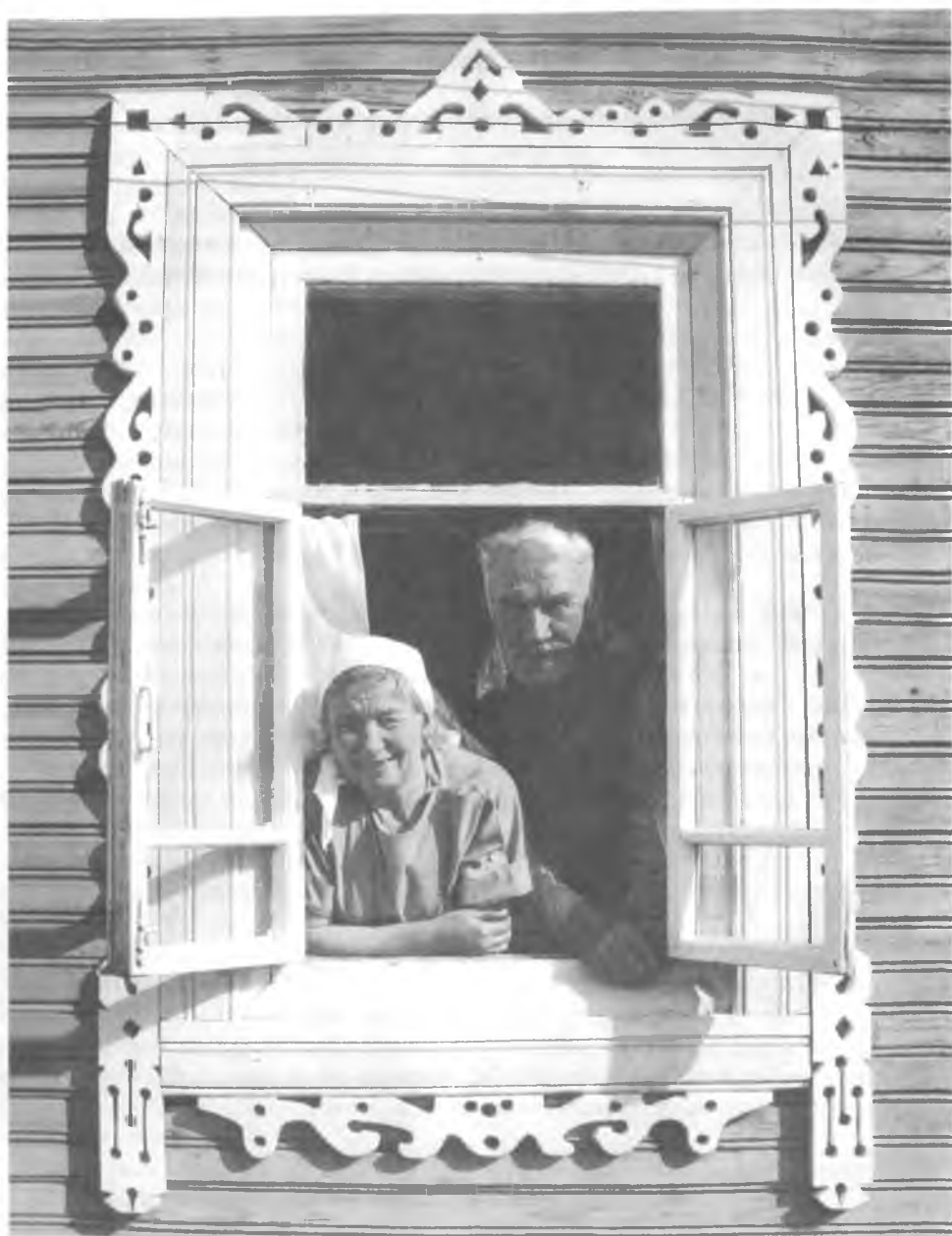
Вологодчина, особенно в последнюю четверть двадцатого века, дала гигантских по своему значению людей, по их характеру, интеллекту, по их роли, которую они сыграли в развитии области, когда она из совершенно захолустных территорий вышла в число лидирующих.

И это хорошо, что Анатолий Ехалов собрал в книге документальные повествования о многих из них, независимо от того, какие посты они занимали.

Я думаю, что эта книга поможет нам увидеть и осмыслить самих себя, оценить свои достоинства и недостатки, заставит задуматься: как жить своим умом и своим расчетом.

Уверен, она послужит сохранению нашей исторической памяти, без которой, как я уже сказал, не стоит ни одно государство, ни один народ.

*Губернатор Вологодской области
Вячеслав ПОЗГАЛЕВ*



Свет в оконце

Завели меня под осень дороги в деревушку, что дворами своими в лес упирается, а окнами, в опрятных стареньких наличниках, ожидаючи, на дорогу смотрит.

Бежит по большой дороге быстротечное наше время в хлопотах и заботах, и некогда вроде бы остановиться, всмотреться внимательно в тихую жизнь придорожных деревень.

Но вот вытряхнули меня обстоятельства из теплой машины в промозглый день, и я остался под немилостивым осенним небом. И кто знает, сколько бы проторчал в ожидании транспорта под дождем, если бы не откинулась занавеска в небольшом — три окна по переду — домишке и чья-то призывная рука не поманила бы меня настойчиво в избу.

Я поднялся по ступенькам, перешагнул истертый подошвами порог и будто очутился под кровом родного дома: таким радушным и знакомым теплом пахнуло от растекавшейся жаром русской печи, от гудящего весело самовара, от светлой горенки, протяжного ласкового говора:

— Милый ты мой, в экое-то ненастье!

Сухонькая старушонка, с выпроставшимися из-под платка, легкими, словно пух одуванчика, волосами, не спрашивая ни имени моего, ни роду-племени, вспрянула из-за стола:

— Разоболокайся скорее, обуточку-то я на печь поставлю, катаники дам. И самовар у меня на подходе.

И столько было заботы, участия, готовности отогреть чужого человека в порывистом облике ее, что пропала сразу неловкость, будто ты и был тот желанный гость, которого долго выглядывали на лавке у окошка.

— Так уж сегодня кошка гостей намывала, так намывала, — докладывала она, собирая на стол, и глаза ее лучились веселым блеском. — Да и сорока с утра прилетала — к беседе.

Звали мою спасительницу Татьяной Дмитриевной Симоновой. Было ей в ту пору без малого восемьдесят лет. Но я только это и успел у нее узнать. Побеседовать нам не дали.

Едва самовар занял генеральскую позицию за столом, как проскрипела калитка и

на пороге появилась дородная женщина в годах — соседка. За ней пришла молодая, по-хозяйски чувствующая себя в этом доме. Потом объявился пожилой мужчина, должно быть, пенсионер, присел на корточки у дверей, раскурил папиросу.

Новые гости чай пить не стали: «только что из-за стола», поглядывали на меня с нескрываемым интересом, выжидая время, чтобы порасспросить: кто да откуда. А когда выяснилось, что из газеты, корреспондент, заговорили чуть не в один голос:

— Это правильно, надо про тетку Татьяну написать. Она у нас радимая, приветливая. Мы каждый вечер к ней. Иное полная изба наберется. И похочем, и поревим. Вся правда у нее сказана, вся правда.

— Где сказана? — не понял я.

— Да как же, в стихах, — повторила пожилая женщина.

Мне стало неловко. Вот ведь как получается: оказался я здесь случайно, а ведь и на самом деле ждали меня тут. Ну пусть не меня, так кого-то другого, чтобы рассказал народу печатно про их соседку тетку Татьяну. Такой уж она замечательный человек.

— Ты, тетка Татьяна, стихи-то, стихи свои почитай. Про то, как жили. А он пусть запишет, — сказал солидно мужик от порога.

— Татьяна Дмитриевна заволновалась вдрут; руки ее теребили передник, на морщинистом лице проступил румянец.

— Да какие уж мои стихи, — сказала она тихо, — я ведь и грамоты не знаю. С восьми лет в подпаски отдали.

Но по тому, с каким интересом смотрели на нее деревенские жители, как усаживались поудобнее, я понял: что-то будет чрезвычайно интересное.

Татьяна Дмитриевна оправила платок, руки ее успокоились и легли тяжело на колени, глаза в глубоких морщинках пристально всматривались в какую-то неведомую даль. И вот зазвучал напевно голос:

А как раньше мы жили?
Все полоски серпом сожнешь,
А как ржаную нивушку жнешь,
Так все ноженьки в кровь обдерешь.

Тапочек-то не носили,
А все больше босиком ходили.
А нет, так безо всякие отпорки
Наденешь как-небутные опорки

Да до заката солнышка жнешь,
Да еле спинушку разогнешь.
Чем могу доказать,
Безо слез не сказать.

Спросите у того народа,
Кто с девятисот пятого года.
Тот люто покрутился,
Кто в те годы родился.

Пожилой мужчина, сидевший на пороге, оставил свою папиросу, задумчиво подпирал голову ладонью.

Женщина в годах утирала платком слезы, глубоко задумалась и молодуха.

— Вот чешет, — наконец, восхищенно сказал мужик с порога. — Это тебя бы, тетка Татьяна, смолоду грамоте определить, то-то ли было? Про Ломоносова слыхала?

— Меня, милый, смолоду другой грамоте обучали, — откликнулась бабка Татьяна. — У родителей не сладко, да и замуж вышла в бедность. Девятеро детей! Надо жить как-то. Вот и тянулась. Мужик на войне. Лешка грудной еще был. Дома его не оставишь. А на мне два телятника было. Надо обрядить. Вот Лешку привяжу на грудь полушалком, сама ведра в руки — и таскаю воду с реки. Едут как-то молодые мужики на лошади: «Гли-ко, бабе-то какая нагрузка: два ведра и ребенок на грудине!»

Татьяна Дмитриевна находилась, словно воробей в охолод, пригорюнилась.

— Я ведь почему начала стихи складывать? Иной раз так тяжело, что вот-вот упадешь и не встанешь. Нету больше моченьки. А потом раздумаюсь про свою жизнь, и начинают в голове строчки складываться. Вроде бы и легче станет, словно посетуешь кому.

В войну много стихов сложила, да сейчас уж и забывать стала. Худо тогда жили, ох, худо. Ни поесть, ни обуть, ни одеть. А жить-то надо! Эта вон барышня и говорит мне, — Татьяна Дмитриевна показала на молодую женщину, сидевшую на диване, — дочка моя Таисья: «Я в школу не пойду!» — Наряду-то нет. Так она мне вспоминает: ты, говорит, мама меня с веревкой в школу до ручья гнала. А далеко. Так с веревкой и шла. Семилетку кончила.

Таисья заулыбалась и тоже вступила в разговор:

— Отец — на фронте, а нас такая орава. Сами дрова рубили и домой, и на телятник. Маленькие-то эдакие. Да устанешь-то. Да на воз-то не навалить. Как-то у быка череседельник развязался, сидим и ревим.

А в августе рожь рано поспекает. Надо народ кормить. Давали на трудодни новой муки. Мать и говорит: «Идите, девки, за мукой. Только дорогой не ешьте муку-то». Да разве удержаться?

А вот, сколь ни тяжело было, все выросли, в люди вышли, — просветлела она. — Как праздник какой, соберемся вместе, с детьми, внуками, — целый табор. У меня вон дом большой, у брата... Нет, все к маме. Она у нас, как солнышко: и светло, и тепло.

— Это уж верно, — поддержала соседка. — Она и чужих всех привечает. Расскажи-ка, как мужика-то встретила недавно...

— Да чего там! — махнула она рукой, но к разговору пристала. — Я тут косила усадебной. Иду домой. А молодой такой мужшина, хорошо одетый, на лавочке сидит, автобуса ждет. У меня коса большущая. А он: ой, говорит, бабушка! Ты такая старенькая, да еще и косила? А я ему отвечаю:

А топорик наточу
Да и в лес покачу.
Дровишки там подбираю.
Не требую хороший кусок,
А гляжу, чтобы получше был лесок.

Ой, говорит, бабушка, какая ты!

А он меня заинтересовал.

Я, говорит, здесь родился. Отец на фронте без вести пропал. Мать еще маленьким оставила. На родину тянет, приехал, куда и пришатиться, не знаю. Я, говорит, от тебя так и не отошел бы.

Вот мы с ним будто родные и стали. Я ему всю его жизнь в стихах сложила. Письма теперь пишет, одна беда: грамоте-то я так и не научилась.

— А Серезжку-то Кульпина знаете? — оживилась она. — Председателя сельсовета нашего. Говорит:

— Построю к выборам сельсовет новый.

Я ему:

— Ой, не управиться.

А только два раза в магазин съездила, как у него все готово. Вот у меня и сказано:

Сергей Кульпин — готов ответ.
Во срок построен сельсовет.
Удивляется народ:
Какой же быстрый поворот!
Хоть небольшая высота,
Такая в доме красота...
Стульев множество стоит
И телевизор говорит.
Дом готов и мебель там.
Все готово к выборам!

...Машина пришла в сумерках. Татьяна Дмитриевна провожала меня до калитки и долго махала рукой. Мы спустились в низину, и разом окутала темнота этот мир. А когда вновь выбралась машина на взгорок, я увидел далеко в темноте маленький дрожащий огонек ее избушки.

У Христа за пазухой

Гармонист Николай Ганичев нотной грамоты не знает, самоучка, но стал знаменитостью. В Москве вышла его пластинка с наигрышами. Это событие тронуло его до слез. Как-то возвращались мы с концерта в Междуречье, Ганичев вспоминал свое детство. И я понял, почему такой удивительной красоты музыка рождается под его пальцами. Рассказ этот я записал тут же в блокнот. И вот недавно нашел, перечитал — и словно зазвучала вновь ганичевская музыка...

Жил я в деревне Чепурово, как у Христа за пазухой. Бывало, маманька на сеновал подымается:

— Сынок, солнышко-то давно траву высушило.

А из дома пирогами пахнет. Мастерница мама на пироги была. Деревенька наша, что ожерелье вкрут озера. На речке Норовке мельница водяная, за мельницей бочаг темный, в кувшинках, язи поденку ловят, что поленья по воде бухают. На пригорке паровая мельница пыхает, два кожевенных завода. Семьдесят шесть домов в деревне. Матюга, бывало, и в праздник не услышишь. Уважительность и обходительность. Все Иван Ивановичами были.

Теперь вот три дома остались, да и те, что кислые грибы, поразъехались.

В сорок первом за куском хлеба в город пришлось уйти. В ФЗО поступил. Подъем в пять утра. Как-то проспал на практику. Тут же мастер акт составлять кинулся. Лишили пайка. Не с голоду же помирать? Вспоминаю деревню, мамку родную, в рукав уткнулся, слезы рубаху прожигают, будто каленые. Сбежал до дому. Отдали под суд. Судья приговор выносит: пять лет лагерей. Заплакал в кулак и думаю: «Всяко все это мне снится».

...Столько этот человек за свою жизнь перенес горя, а вот музыка радостная и светлая, что вода в речке Норовке, когда бежит она по камушкам.



На волоке Славянском

Утро выпало с тихим дождичком и густым туманом. Мы сидим в бревенчатом прокопченном чайнике, пьем густой чай, заваренный в большом прокопченном чайнике, глядим на озеро сквозь дождь, падающий с застрехи крыши. Озеро рядом, но его не видно — весь утренний мир поглотил этот молочный туман. И только вытасченный еще с осени красный бакен на берегу, стол наш с присохшими перламутровыми рыбьими чешуинами и горячим чайником, электрическая лампочка под железным абажуром придают миру некоторую реальность. Да слышно, как дышит озеро неуловимым движением вод.

— Ерш Ершович сын Щетинников в озеро Кубенское с Уфтюги приплыл с семейством, попросился одну ночь ночевать да и остался за хозяина, все рыбью икру приел. Житья от него нету. Вот погоди, ужо управимся с огородами, дак возьмемся ему перья считать, — говорит кто-то из рыбаков непроснувшимся, с позевотой голосом.

— У нас каждую весну такой урок. Тралим тралом специальным соплю нахальную. Пройдем по озеру, дак бывает боле тонны его набьется. Это ежли по головам считать — великие мильсны. Мы его — в фаршировочную машину... и свиньям на корм отправляем.

— Все озеро страдает от ершиной напасти, — вторит ему другой рыбак. — Доброй рыбе — судаку, нельмушке, самой нельме — от ерша страшный урон...

— Ну, с Богом! — это уже решительный голос бригадира.

Рыбачья бригада, человек в десять, поднимается со скамей, раскатывает голенища бродовых сапог. Сегодня последний перед нерестом выход в озеро. Особых надежд на улов у рыбаков нет. Идут больше по обязанности. Зима была малоснежной и маловодной. Лед на озере стал ложиться на дно, и рыбу выперло в Сухону и малые реки. Вологодские рыболовы по весне с ума сходили, когда на блесну или на живца хватили такие «крокодилы», что едва самих рыбаков в лунки не утаскивали. Это тронулась с обжитых ям глубинная озерная щука.

...Туман и не думал рассеиваться. Мы сели в лодки и поплыли от берега в сплошном молоке. Однако вскоре появились контуры других рыбацких лодок и катеров, дремавших на рейде. Бригадир рыбаков Николай Чекмарев, добродушный богатырь лет тридцати пяти, капитан, он же моторист, первым ныряет в кубрик и запускает

движок. Многие рыбаки промокли, пока добирались из соседних деревень до озера, нужно обогреться. Скоро уже гудит печь-буржуйка, распространяя вокруг жаркие волны. Катера долго идут в густом тумане, и как ориентируются в нем рыбаки – одному Богу известно.

...Кубенское озеро с полным основанием можно назвать одной из самых прекрасных жемчужин в шитом озерным жемчугом кокошнике Вологодчины.

В древние времена проходил по озеру торговый путь славян в студеные моря. Он и теперь существует, хотя грузов идет не столь много, как было это еще несколько лет назад. Старая Северо-Двинская водная система, соединившая через волок Славянский реки Шексны и Сухону, запущена была в работу 1825 году.

Прежде называлась она каналом героя Отечественной войны герцога Вюртембергского, который руководил строительством. Сам герцог был выходцем из немцев, но стал русским патриотом, его полководческий талант ценили и Суворов, и Кутузов. После войны он возглавлял министерство путей сообщения. Канал протяженностью в 78 километров был построен за три года! Поразительные темпы, если учесть, что главным орудием труда были кирка да лопата.

Канал открыл доступ Петербурга к вологодским и архангельским корабельным борам и производственному. Одних только ящ ежегодно доставлялось через канал миллионы штук.

Волок Славянский и по сей день продолжает свой торговый, земледельческий и рыбацкий промысел.

В Волокославине живет старый мой товарищ – пасечник Анатолий Александрович Птицин. Вообще-то, он прожил городскую жизнь, он и жена его Нина Александровна пенсии заработали в Череповце, дымном городе металлургов. А потом вернулись в родную деревню, в родимый дом и живут здесь безвылазно.

Птицины встречают гостей с распростертыми объятиями. Нина Александровна ставит на стол разносолы, чай, прошлогодний густой мед. Анатолий Александрович достает с комода заветную кирилловскую гармошку. Игрок он первостатейный. И гармошек у него три. Да еще одна крохотная совсем. На ней Нина Александровна играет и поет задористо.

Отец у Нины Александровны был директором Волокославинской гармонной фабрики, наверное, самой знаменитой на Северо-Западе. И по сей день кирилловские гармошки, то бишь волокославинские, изготовленные десятилетия назад, считаются у знатоков лучшими, самыми звонкоголосыми.

Анатолий Александрович – истинный самородок. Разведет меха, пустит пальцы сверху вниз – и польется такая музыка, что вся деревенская жизнь прошлая у тебя будто перед глазами встает.

А гармонист отставит гармошку, улыбнется светло:

– Я тут заметил, что пчелы под музыку лучше мед собирают, активнее...

– На пасеке, что ли, играл?

— Игрывал. У меня вот такая беда приключилась. Повалился было медведь ходить. А пасека-то у меня в стороне от деревни. В один сезон семь ульев порушил. И на другое лето портачить начал. Тоже штук шесть или семь ульев извел. Меня уже и за хозяина не считает. Сам набольший. Я ульи-то, под осень уже было, с пасеки увез домой в подвал. Прихожу на следующий день — мать родная, погром целый. Он в сараюшку залез, там пустые колоды стояли, дак он их в щепки разнес, в окошки обломки выкидывал.

Ходил потом сторожить пасеку, собак не было, дак брал гармонь. Встану ночью, давай «под драку» нарезать, утром обойду — был злодей рядом, в кустах сидел, а не посмел показаться. Вот такая наша гармонная игра!

...Сегодня кирилловских гармошек в Волокославине не делают, как и не делают их по всему Кирилловскому району и по Кубенскому озеру. Было время, когда не только раскулачивали и рушили церкви, но даже гармонь признали кулацкой пособницей, вражеским инструментом. Деревенскую частушку ведь цензурой не отредактируешь:

Сидит Ленин на телеге,
Два нагана по бокам,
Разделить в деревне землю
Он велел по едокам.

Или еще:

Калина да малина,
Восемь жен у Сталина.
У колхозника одна,
Как собака, голодна.

Жили на озере Кубенском два знаменитых мастера гармонных дел братья Сметанины. Гармошки свои, чтобы фининспектор их не обнаружил да налогами непомерными не обложил, делали... в стогах. Целая мастерская в стогу, сеном укрытая.

Про Сметаниных даже частушка долгая была:

Не берет меня, молодчика,
Ни стужа, ни мороз!
Я сегодня утром затемно
На саночках раскатистых
Гармошку синемехую
За восемь за километров



На Устье ко Сметанину
Починивать повез.

В пятидесятых сторе́ла гармонная фабрика в Волокостлавине, мастера разбрелись по деревням, и гармонный промысел стал затухать. Но гармони́сты не перевелись, и пока живы они и живо искусство гармонной игры, кажется, до тех пор будет и жива душа русской деревни.

...Сорок с лишним ульев у гармони́ста, бывшего гармонного мастера, бывшего металлурга Анато́лия Пти́цина. И сборы меда хорошие. А вот продать свой труд не умеет. Рассказывает:

— Повез как-то бидон с медом на рынок в Вологду торговать, думал, со стыда сторю. Рад был под землю провалиться. Да потом еще неделю в поту просыпался: все снилось, что на базаре медом торгую.

Что ни говори, а вот торговать не каждый вологжанин способность имеет. Иной скорее так отдаст, чем продаст. И это нестяжательство имеет свои духовные корни.

Пять монастырей на протяжении столетий духовно окормляли эти края: великий Кири́лю-Белозерский, сказочный Ферапонтовский, стенами убогий, но духом высокий Нило-Сорский, Спас-Каменный на Кубенском озере — центр духовного просветительства и, наконец, самый большой женский, имеющий трагическую историю Горицкий монастырь.

...В начале девяностых вид этого разрушенного монастыря ввергал в смятение. В проржавевших куполах свистел ветер, завывал в стенах бывших монашеских келий, оставшихся без дверей, окон.

Разруха и запустение. Сорвется с поверженного креста стая черного воронья, огласит округу хриплым граем, и вздрогнет человек, и наполнится его сердце ужасом от содеянного. И видится в этом монастыре, с осыпающимися стенами, изъеденными ржавью куполами соборов, пустыми глазницами келий, судьба самой России.

В начале этого века жила в монастыре старица Калерия. Умирая, просила не хоронить ее на кладбище в монастырских стенах. На кладбище том, говорила, будут бесовские игры. А еще говорила, что в Троицком соборе бесовские танцы начнутся. Пророчества старицы Калерии сбылись самым печальным образом. Могильные плиты в пятидесятых годах сдернули и выбросили на свалку, могилы сравняли с землей и на костях монахинь устроен был стадион.

В Троицком соборе несколько десятилетий располагался Горицкий сельский клуб. Гремел под сводами его чужеземный рок, и в оскверненном алтаре сотрясались от электрических децибел тела и стены, и, верно, достигали они праха великих старцев, лежащих под этими стенами.

Без малого пять веков назад Ефросиньей Старицкой, в девичестве Хованской, был основан в Горицах в полутора сотнях километров от Вологды монастырь. Приходи-

лась Ефросинья теткой Ивану Грозному, противилась его политике, за что племянник люто расправился с ее семьей. А затем отправил в Горицы опричников, которые надругались над обителью и лишили жизни инокиню Евдокию, в миру Ефросинью Старицкую-Хованскую. По одной версии, зарубили ее, по другой — отравили в бане угарным газом.

Расцвет монастыря связан с именем игуменьи Маврикий, в миру Марии Матвеевны Ходневой, дочери Белозерского помещика. Отец у нее рано умер, мать второй раз вышла замуж, а дочь этого не смогла перенести и ушла в монастырь. Сохранились основные даты ее монастырской жизни. В 1801 году она пришла в Горицы, через пять лет стала монахиней, еще через пять — игуменьей и правила монастырем до 1861 года. Пятьдесят лет.

При игуменьи Маврикий введен был в монастыре общежительный устав, по которому монастырь должен был существовать не на государевы, а свои хлеба. Почти половина насельниц покинула Горицы, недовольная этим уставом. Осталось сорок монахинь. Но с них и начался рассвет монастырской жизни.

Построен был кирпичный завод, а далее Троицкий собор, Покровская церковь с больничными палатами.

В монастыре была развита иконопись, золотошвейный промысел. Были свои кузни, кожевня, башмачный двор, маслобойня, пгичник, скотник, холодильники, овощехранилища, амбары, склады.

Для всей округи выращивали монахини рассаду огурцов и цветы. Те, кто еще застал монастырь действующим, помнят, что и сам монастырь, и село утопали в цветах.

В лучшие его годы жило здесь до шестисот насельниц.

В 1932 году власти монастырь закрыли. Насельницы разбежались, а некоторые старожилы утверждают, что будто утопили их в Шексне. И называют имя капитана, который якобы перед смертью повинился в злодействе. Ходили в ту пору по каналу баржи, возили грунт от земснарядов, углублявших дно. Где было нужно, дно баржи открывалось и грунт вываливался. И вот будто бы на такой барже увезли последних насельниц...

...Сегодня монастырь живет надеждами и трудами. В Клементьевских кельях теплятся окошки, в центре — ухоженный огород. И всюду цветы, цветы, цветы...

Пока здесь не более десяти насельниц, с них начинается возрождение Горицкого монастыря.

— Вы не смущайтесь сегодняшним запустением, — говорит матушка Ефалья. — Место здесь благодатное, народ душевный. А главное сегодня — не стены. Слава Богу, люди не забывают, не оставляют без помощи. Вместе да с помощью Божьей все одолеем.

Масштабы реставрационных работ в Горицах огромны. И впрямь одолеть их можно только всем миром.

...Часам к одиннадцати подул ветерок, озеро порасчистилось. Хотя дождь продолжал сеять с низкого, в сплошных облаках неба.

Завели километровый невод, потащили катерами к берегу. Можно уже заварить чайку, покурить.

— Не то стало озеро, — жаловались рыбаки, — и тут не один ерш виноват. Видимо, с Череповца несет и к нам всякую гадость с дождем и снегом.

— Скажи спасибо, что разворот северных рек не допустили. А то бы где мы сейчас были? В переселенцы бы определили вслед за водичкой. Слава Богу, нас еще озеро не больно жирно, да подкармливает...

...Если обратиться к официальным данным по рыбодобыче, то, действительно, вылов учтенной рыбы в вологодских водоемах, надо признать, слишком мал. Где-то по полтора килограмма на душу населения, в то время когда медицинская норма запрашивает все восемнадцать.

И эту норму мы могли бы восполнить собственной пресноводной рыбой, более того, сделать рыбодобычу предметом бюджетного наполнения, продавая ее за пределами области.

В области насчитывается более четырех тысяч озер и 16 тысяч рек. На каждую реку или озеро приходится не более 60 вологжан. Неужели они не в состоянии обеспечить эту самую необходимую норму, медицинскую норму по рыбе?

В области идет работа по искусственному зарыблению водоемов. Конечно, не все четыре тысячи озер пригодны для рыбоводства, но где-то около трехсот отвечают необходимым требованиям.

На Северо-Западе на сегодня, наверное, остался единственный рыбоводческий завод, в Кадуе на термальных водах ГРЭС выращивается карп, осетр, сухонская стерлядь, нельма, форель...

Но выращивание рыбы в садках на искусственных кормах в общем дорогостоящее занятие. Философия рыбоводческой идеи состоит в том, чтобы найти этим, пригодным для рыбоводства водоемам настоящего хозяина. И результаты будут. Причем самые отменные.

В 1997 году было зарыблено карпом несколько озер. Высаживалась молодь весом от 150 до 200 граммов, чтобы ее не могла поесть хищная рыба. Через год были проведены контрольные выловы. Поразительно, но на естественных кормах прирост карпа составил полтора килограмма, нельма дает от полутора до килограмма!

Кадушский рыбзавод готов обеспечить заказчиков молодью ценных рыб, управление рыболовства поможет будущим хозяевам водоемов провести исследования и даст рекомендации по рыбоводству. Остальное дело — за хозяевами.

Проведенные экономические расчеты показывают, что на озере примерно в пятьсот гектаров затраты на обследование, зарыбление, приобретение ловушек, лодок, оплату охраны и рыбаков составят около двухсот тысяч рублей. Чистая же прибыль уже через год — около ста тысяч рублей. Рентабельность 150 процентов!



— Говорят, что экономику Китая подняло рыбоводство. Может быть, и нам оно поможет стать на ноги? — завел я с рыбаками разговор. — Чего мы все маемся-то? Все никак своего курса не можем найти? Или наш мужик сноровку не ту супротив заграничного имеет? Или голова не так устроена?

Николай Чекмарев хмыкнул:

— Тут приезжал к нам на охоту иностранец один. Немец. Повели его на глухариный ток. Ружье сверхавтоматическое, все переливается, в инкрустации, одежда — слов нет. Бинобль, патронташ, ягдташ... Егерь его к самому глухарю вывел, скрадывая да стреляй. Не смог — сноровки не хватило. Улетела птица. Выходит расстроенный к машине, а там шофер держит под мышками двух глухарей, те меж собой еще драться продолжают. Руками поймал. А ты — сноровка...

— Так в чем дело? Предки наши под козырьком Северного полюса в Америку на промысел ходили. Храмами всю Вологодчину уставили, баб своих в соболя и жемчуга наряжали. Куда запал-то пропал?

— Вина много пьют, — сказал Николай. — А вино делу не помощник. Вино волю отбирает и человека рабом делает. Вот что я отвечу.

...Катера подходили к берегу. Быстрые лодки полетели к суше, зачалились, затарахтели лебедки, невод пошел на волю. Скоро показалась и чупа, вскипавшая под водой отменной рыбой славного Кубенского озера.

...К обеду вернулись к деревне с полуразрушенной и вновь восстанавливаемой церквушкой на берегу. Катера отдают якоря, которые долго гремят цепями о борта. И тут я вспоминаю еще об одном сокровище пока богатстве Кубенского озера, хранимом им не одно столетие — сапропеле, самом активном и экологически чистом удобрении. Миллионы и миллионы тонн, способные превратить здешние земли в сказочно богатые нивы.

Я верю, что это будет. Может быть, не сегодня, не завтра, но древний Славянский Волок еще станет великим хлебным путем.

...Наконец солнце вырывается из серого плена, и мир утопает в красках.

Кирилловская

Кирилловские гармони славятся и по сей день. Добыть кирилловскую гармонию во все времена было делом чрезвычайно трудным.

— Цены нет! — старый гармонист Виктор Рассказов достает из своей гармонной коллекции самую неказистую.

— Пришел из армии, надо жениться. А как без гармони женишься. А чтобы хорошо жениться, нужна кирилловская. И пошел я пешком в Кириллов. Это километров сто вдоль Шексны лесами да болотами. Все взбудил. Нету гармоней. Мастеров при одном упоминании в дрожь бросает. Делать нечего, надо не солоно хлебавши оглобли поворачивать.

Иду. Темнеть начало. В одной деревне захожу в крайний дом. Сидит мужик на лавке.

— Ночевать можно?

— Ночуй.

А гляжу, на комод под накидкой — гармонь.

— Играешь?

— Нет.

— Дай сыграть!

Взял ее: мать честная! вот она! Из рук не могу выпустить.

— Продай!

— Нет, что ты! — поднялся.

Я в магазин. Беру три бутылки. Сели, выпили.

Я играю, он пляшет. Одну уговорили.

— Продай!

— И не проси!

Вторую осушили.

— Продай!

— Не могу!

Пошли на третью.

— Продай!



— Ладно. Давай четыреста. И уходи. Скорей. Не то баба моя с фермы придет, отберет обратно.

Я гармонь под мышку и бегом. Километров десять рысью отмахал. Дальше леса да болота пошли. Развернул мехи и — с песнями.

Ночью слышу, кто-то сзади на лошади едет. Догоняет молодуха. Поглядела на меня внимательно.

— Давно, — говорит, — сзади еду. Добро играешь. Садись, что ли.

Забрался я на телегу, подсел к ней на грядку, развел мехи. Я играю, она поет.

Утром уже спрашиваю:

— А ты куда едешь-то?

— Да вот, — говорит, — хотела тебя догнать да гармонь забрать тятину. Да больно хорошо играешь, заслушалась.

Рассказов замолчал, погладил гармонь и пустил сверху вниз лихой перебор.

— Вот она, голубушка!

— Ну, а хозяйка ее уехала?

— Ну-у... Вон она за самоваром сидит. От кирилловской гармони еще ни одна не уходила.

На своих дрожжах

Валентин Владимирович Зажигин, директор совхоза «Вохтога», был человеком в области известным, орденоносным, совхоз его числился в десятке лучших.

Как-то во времена всеобщей борьбы с алкоголем пригласил он меня с товарищами отужинать в совхозной овчарне. Чтобы любопытных глаз меньше было.

Рядом с овчарней стояла неказистая, просевшая венцами избушка-водогрейка. В избушке была маленькая комнатка с отклеившимися обоями, лавками вдоль стен и большим деревянным столом.

Вышел сторож овчарни, поставил на стол огромное блюдо дымящейся похлебки и резанный большими ломтями хлеб.

— Жили-были рыбак да птичница, — сказал скороговоркой Зажигин. — У них что ни день, то яичница. Уха и та из петуха.

Он распахнул пузатый портфель, извлек из него большой кусок окорока, водку, шампанское. Делал он все стремительно. Тут же в одной его руке оказалась бутылка водки, в другой — шампанское. Из обеих принялся наполнять стаканы. В народе такой «ерш» называется «белым медведем».

— Вы уж меня простите. Я чистую-то водку не пью, я по-стариковски, разбавляю шампанским.

Едва я успел убрать свой стакан, а товарищи не успели, очень скоро заплатились. «Стариковский» напиток запросто мог свалить быка. Но не Зажигина. Что это была за колоритнейшая фигура! В ту пору Валентину Владимировичу было под семьдесят. На вид, что дуб развесистый, кряжист, жилист, но быстр, поворотлив. Глаза с лукавинкой, острые, что шилья. Силой своей, умом ли умел блеснуть.

Чудесный вечер подарила мне судьба в этой полусгнившей водогрейке! Зажигин был в ударе. Тридцать девять лет руководил он хозяйством. А было за эти годы столько...

— Вот, братцы мои, — сказал Зажигин, откладывая ложку, — первый раз меня исключали из партии, когда я был еще беспартийным. Как сейчас помню: 13 сентября 1950 года избрали меня председателем колхоза. Было тогда в хозяйстве под сотню лошадей, сотни полторы коров, да я еще сдуру прикупил телят столько же. А сена



вполовину нужды. Как зимовали, одному Богу известно. Надо коров доить — сейчас собираем мужиков и — на двор жердями скотину подымать. Вывесим на двух вагах коровешку и держим, пока бабы не подоят ее. Я до чего доподнимал, что с пупа съехал. Ну, думаю, надо головой вперед работать. А то век свой придется коров вывешивать.

Лето приходит, выдаю колхозникам свое решение:

— Все покосы, какие есть, делю между семьями. Косите, как можете. Десять процентов от накошенного забирайте себе.

Дело неслыханное. А народ поднялся, горы готов свернуть. В кои-то веки можно свою корову сеном без оглядки обеспечить. Кормов заготовили в то лето невиданно. Да и зерна narosло. Скотина оправилась, надои и привесы в гору полезли. И приезжает как раз перед великим постом из района инструктор. Мол, поделитесь опытом, как вам удалось таких успехов достичь? Так и так, говорю. Головой стали думать, а не задним местом. Рассказал, как народ заинтересовали. А он на дыбы.

— Это что такое? Кулацким замашкам потакаете?

Я вспылил, печатью о стол брякнул:

— Если ты такой идейный, так сам и руководи, заготовляй и сено, и солому.

Он эту историю в районе раздул, вызывают меня на бюро и принимаются «чехвос-тить» за недисциплинированность, за кулацкие настроения.

— Да вы что, мужики! При коммунизме и вовсе скотину кормить перестанем?

Секретаря в кресле так и подкинуло:

— Предлагаю Зажигина из партии исключить. Кто «за»?

Проголосовали единогласно.

— Партбилет на стол!

— Нет у меня партбилета.

— Как так?

— А я беспартийный, — говорю. — И пока ты здесь командовать будешь, не вступлю!

Слава Богу, того секретаря быстро тогда сняли, а то он меня точно бы упек. Или исключил.

Зажигин вновь налил «стариковской».

— Четыре раза меня судили. Колхоз наш был в системе семеноводства. Понятно, семена требуют особого отношения. Пока их почистишь, отсортируешь... Другие хозяйства уже всю хлеб сдают, а у нас в сводках — прочерк. Вызывают опять на бюро.

— Почему медлишь со хлебосдачей?

Объясняю. Слушать не хотят. Тут прокурор, начальник милиции.

— Посадить как саботажника!

Прямо в кабинете арестовали и — в КПЗ. Улицей ведут, как особо опасного преступника. Сутки с хулиганами просидел, приходят:

— Зажигин! На выход.

Выпустили. Хлеб-то надо молотить.

Вдругорядь три года дали. Лишения свободы. Я молодой еще был. Не понимал. Думаю, меня гражданских прав лишили. Голосовать теперь не дадут. Хорошо, что областной суд отменил решение нашего.

Вот так всю жизнь. То из партии исключают, то в тюрьму сажают. Как-то с работы сняли за то, что я нарушаю трудовое законодательство: работники у меня в сенокос больше восьми часов в день работали! Что ни день, то война. Окопы по полному профилю. Еле отбился.

...Нас у отца пятеро ртов было. Соберемся за стол, так мамка подавать не успевает. Батка дважды навьлет ранен. А работать надо. Был председателем волисполкома. Двенадцать деревень под началом. Ездил к Дзержинскому хлопотать о снижении налогов. Совсем мужика задушили. Потом столярничал.

Пошли сельсоветы. Наш сосед председательствовал уже. Как сейчас помню — Алексей Герасимовский. Из бедняков. Не было к работе и земле прилежания — вот и бедняк. Но в должности правил круто. Проводил раскулачивание. Надо разнарядку выполнять — подобрал двух богатеев, а у тех богатеев крыши соломой крыты.

Как-то приходит к отцу:

— Николаич! Я теперь на всю жизнь обеспечен.

Отец ухмыльнулся:

— Нет, парень, на чужих дрожжах не поднимешься.

И верно. Скорехонько все добро пропито было. Потом уж побираться пошли.

...Хороша наша деревня была. Как сейчас вижу. В полдень солнышко жарким колобом вдоль деревни катится. Выйдешь за околицу — земля-матушка, даль неоглядная...

На агронома выучился. А поработать не успел — война. Участвовал в обороне Ленинграда, на прорыв блокады бросали. Механик «тридцатьчетверки».

Трижды брали 8-ю ГРЭС, и трижды нас разбивали в пух и прах. У немца каждый метр был пристрелян.

В четвертый раз пополнили нас танками с Кировского завода. Рванулись мы через линию смерти. Кругом ад кромешный. Считаю: минута, вторая, третья — все еще живы, все не горим. Потом вижу в смотровую щель — немцы побежали...

Вернулся Зажигин домой в сорок четвертом. Полмесяца с костылями ходил, другую половину — с двумя палками, потом с одной... А потом как-то увидел в хлебах козу — кинул в нее палкой, а поднимать не стал. Дальше всю жизнь крепко на ногах простоял.

В совхозе у Зажигина, как в Греции: все было. Жилье, соцкультбыт, современное производство... Чего еще?

Как-то две старушки в Вологде в пригородных кассах брали билеты.

— Милая, мне до Вохтоги.

— А мне сделай до Дресвищ.

— Где это? — удивляется кассирша.

— Левее Вохтоги, у Зажигина-то...

— А что, и впрямь у вас в совхозе своя железная дорога? — спросил я Зажигина, когда колесил с ним по хозяйству.

Вместо ответа он повез меня в маленькую деревеньку Дресвище. От железной дороги государственного значения к деревне уходила насыпь для будущей ветки. Своей. Совхозной.

— На своих дрожжах? — спросил я Зажигина.

— Своим умом! — отвечал он удовлетворенно.

...«Белый медведь» скоро одолел моих товарищей. Мы сидели с Зажиным одни у водогрейного котла и беседовали.



— Я книжку хотел собрать, столько лет записи вел. И вот пропали записи. Тебя пригласил: может, чего и расскажешь о нашей председательской и директорской доле. А? Глядишь, и прочитаю на старости лет. На досуге-то.

...Я тогда от газетной работы отошел. Зажигин — от директорской. Отдыхал. С той памятной ночи прошло лет пять. А тут разруха в деревне началась. И слышу: снова в Вохтоге народ Зажигина на правление позвал. Жаль только, не долго он на этот раз правил. Отдал себя народу всего. Без остатка...

Все до копеечки

Дядька Петя получил в колхозе ответственную должность пожарника. Дали ему лошадь в пользование, бричку, картуз с синим околышем и полевую сумку для актов и предписаний.

Важный дядька Петя ездил в бричке, выставив напоказ ногу в начищенном до блеска яловом сапоге. Однако занимать такую высокую должность можно было только партийному, а дядька Петя ни в КПСС, ни в братских партиях не состоял. Так что ему велели написать завлечение по форме: мол, желаю быть активным строителем, с уставом согласен и т. д.

На колхозном собрании его обсудили, приняли в кандидаты, и стал дядька Петя дожидаться, когда он станет настоящим партийцем. Впрочем, взносы брали с него как с партийного, без скидок на кандидатство. И брали так целый год. Но вот подошел и его черед, и призвали его на бюро в район. Выехали, наверное, часа в четыре утра. Ехали в четыре лошади, кто по каким делам. А мороз поджимал. Пока одолели двадцать пять километров, окоченели, как покойники. Еле выгрузились да нырнули в чайную перехватить горяченького. Мужики отделились от женской половины, спрятались за печкой-голландкой и пустили по кругу поллитру в чаю.

Партийный секретарь кличет дядьку Петю: «В райком пора!» Тот ему отвечает солидно: «Прибуду ровно в девять ноль-ноль».

К девяти ноль-ноль конечно же не попал. Плотно застрял с мужиками за печью. Но все же ответственность взяла свое, и часам к десяти дядька Петя заявился на бюро.

— Здорово, мужики! — радостно тряхнул он кудрявой головой, будто пришел на деревенскую гулянку.

— Да он, никак, пьян! — вскричал секретарь, от возмущения приподнимаясь на стуле.

— Эко? Я пьяной? — возмущился в свою очередь дядька Петя. — Да меня напоить — бочка надо. Но уж потом держись!

— Да что это такое? — закричала одна востроносая, в очках тетенька. — Кому он тут угрожает?

Дядька Петя насмешливым глазом окинул заседающих.

— Кому тут угрожать? Я очкариков не трогаю, — дядька Петя, рассказывают, в этом

месте даже зубами скыркнул — пошла любимая тема. — Но и меня не тронь. У меня, брат, с руки разделка.

— Я думаю, — сказал секретарь, как будто дядьки Пети тут и не было вовсе, — вопрос ясен. Этот товарищ недостоин быть в наших рядах.

Единогласно подняли руки.

— Все, — сказал секретарь, — до свидания. Таких, как вы, мы к партии — на пушечный выстрел...

Дядьке Пете стало вдруг нестерпимо обидно. За что? Это выходит, что с мороза и пуншем не погрейся? И это порядок? Это товарищи? В таком случае и ему на партию с высокой колокольни...

— Покиньте помещение, — с металлом в голосе сказал секретарь.

— Нет, мил человек, — ядовито не согласился дядька Петя. — Вы мне сначала деньги верните.

— О каких деньгах он говорит? — раздраженным взором окинул секретарь своих товарищей.

— Как это о каких? — вскипел дядька Петя. — А те, что я, считай, год вам каждой месяц сдавал? Эти вы куда дели? Верните по-хорошему. Все до копеечки...

Деньги дядьке Пете не вернули. Это уже были деньги партии. Не их ли потом искали демократы. Дядька Петя об этом, впрочем, не шибко и горевал. Правда, по картузу с околышем тужил долго.

Сказания о вологодской корове

— Нет-нет и привидится она во сне. Стоит будто бы у ворот и смотрит с укоризной, словно в душу заглядывает: мол, что же это ты, хозяйка, меня позабыла? Все коровы давно по дворам, одна я, словно сиротина бездомная. Проснусь в городской квартирке своей вся в слезах: «Господи! Да что же это такое, что же ты память-то мою не отпускаешь? Столько ведь лет прошло...»

Думаю, краше моей Белавы во всем свете не было. А уж какая умница-разумница! Бывало, стадо с поскотины идет, Белавя завидит меня, голос подает. Бабы мне: «Нина, твоя труба впереди всех, словно барыня, вышагивает». Три ведра молока на дно надаивала от нее. А молоко-то какое! На три пальца сливок настоит в кринке. Каждый год теленочка принесет.

Мы ее уже коровкой купили в соседней деревне. Мама мне посоветовала: чтобы, говорит, корова обратно к хозяйке не убежала, ты, говорит, у себя на дворе нательную рубаху сними и протри корову рубахой с головы до ног, чтобы она дух твоего дома на себя приняла...

Так я и сделала. С первого дня дорогу к дому Белавя нашла. Мы с ней душа в душу жили. Уж я ее словом худым не обидела, поило готовила — хоть сама пей, сенцо мелкое давала, зеленое, солью присыпано.

Да что там говорить, и в каждом доме корова за кормилицу и поилицу почиталась. Прежде так и вовсе у нас бабы мужние на голове кокошники где рогатые носили, а где так и коровьим копытцем. Бабой да коровой, не в обиду будь мужикам сказано, дом-то держался.

Как-то вечером пригнали пастухи стадо в деревню, а моей Белавы нет. Кинулась я в поскотину — нет ее, по лесам да болотинам побежала — не чуть и голоса. Деревню всю на ноги поставила, каждый кусток и кочку обрыскали — пропала Белавя. Пала я на землю сырую, зашлась, как по покойнику. Ах ты мне, горе горькое, как же мне без тебя, Белавушка, жить, чем детей малых поить-кормить?!

Сутки Белавы нет, вторые, неделя прошла. Я уж все ноги в кровь сбила в поисках, а тут мама советует: «Иди, говорит, Нинушка, в Загоскино. Там живет старушка-вековушка ясновидица, может, она скажет чего». И тотчас в Загоскино собралась: яиц решето да сала край в подношение, — и в дорогу.



Чемпионка Вена.

Бабка и впрямь ясновидящей оказалась. Иди, говорит, за гари, там за гарями попала твоя Белавя в круг. Да иди, поспешай! И подношения моего не взяла, а дала бутылочку со святой водой.

Побежала я за гари и там в лесочке нашла свою Белавушку. Круг такой, метров на двадцать в поперечине, вытопан до земли, и ходит по нему моя Белавя, вся кожа да кости, ходит, еле ноги переставляет, качает ее бедную.

Закричала я что мочи есть от радости, а она и не чует вроде, голову опустила, с губ пена падает. Открыла я бутылку со святой водой, сбрызнула, благословясь, коровку, и тут передние ноги у нее подкосились, и пала она на землю и замычала жалобно...

Вот какие чудеса бывали в прежние времена. Я бы и сама не поверила, если бы своими глазами не видела. Или вот в Борщевке Биряковского сельсовета жил такой человек, глаз у него, сказывали, был недобрый. Как-то молодые поехали на колхозном жеребце проведать родню в Загоскино, а жеребец-то был такой: как пойдет махать, ровно огнем палит. Тот мужик-то и вышел, поглядел вслед — жеребец и обезножел, так еле-еле до нашего дома приплелся, в пене весь. Послали за тятей моим, он только прошептал чего-то, как жеребец вздыбился и пошел на махах, едва молодых не вывалил.

Я вот все думаю, глупые мы были, у стариков ничего не переняли, а они многое знали, чего бы и нам, и внукам нашим сгодилося.

Ну а потом война началась, так скрутило, что небо с овчинку показалось. Остались без мужиков, без лошадей, все хозяйство на бабьи плечи свалилось. Надо весенне-посевные работы проводить, а не на чем, попробовали вручную копать — руки вытянули так, что от напряжения чирьи по рукам пошли... Чего делать-то? Выручай, Белавя! Выручай, милая! Как вспомню сейчас, сердце кровью обливается. Одели ярмо на шею кормилице, прицепили плуг — и в поле. Земля тяжеленная, к отвалу липнет. А чего силы-то осталось у Белавы моей, коль сами с голоду пухли...

А она будто понимает все, упирается что есть мочи, борозду ведет. Всю весну на ней работала, а к концу пахоты сил не стало вовсе у Белавы. Как-то встала посреди борозды — и ни с места. А я и сама еле на ногах держусь. А надо план давать, сводку каждый день в райком отсылают, на фронте хлеба ждут... Не выдержала я и огрела кнутом веревочным любимицу свою. А она только передернула крупом и стоит. Я через борозду перевалилась и к ней, в глаза-то заглядываю и вижу: Бог ты мой, у Белавы моей слезы, что горошины, кажутся. И такая в глазах этих боль и вина, что обхватила я ее морду, и заревела в голос, и прощения у нее просила, и войну проклягущую проклинала.

Ночью Белавя моя померла. Утром пришла на двор, а она уж холодная... Если на том свете есть коровий рай, так точно Белавя моя в раю. Не зря она мне во сне грезится. Верно, к себе зовет. А я и сама последние лапти донашиваю на этом свете, только вот попаду ли в рай-то — не знаю. Ох, нагрешили мы за время свое безбожное немало, и церкви наши, бескрестовые, лесом на куполах поросли...

Историю коровы Белавы записал я у старой крестьянки Нины Сергеевны Патакиной из-под поселка Молочное, который вот уже целое столетие является признанным научным центром российского животноводства. В самом Молочном обязательно поведают вам историю другой коровы, которая могла бы лечь в основу целого романа.

Корову звали Веной. Взята она была в стадо, над которым работал молодой ученый-селекционер Алексей Емельянов, с крестьянского подворья деревни Митицино, что в пятидесяти километрах от Вологды. Ничем особенным не выделялась — обыкновенная ярославка из Домшинского племенного рассадника, заведенного еще земством. Таких племенных рассадников до революции на Вологодчине было много.

Наверное, некогда в недрах партийного политпроса родилось обидное определение дореволюционной северной крестьянской буренки — «корова-навозница», от которой, мол, и проку было только — поля удобрять.

Определение это переносилось на все северное молочное животноводство. Но тогда скажите, откуда у нас мог появиться обширный маслодельческий промысел, который в начале этого века вывел Россию в лидеры по поставке на мировой рынок сливочного масла?

Конечно, были на Руси нерадивые хозяева, у которых коровы, кроме навоза, ничего не давали. Но большинство крестьян не стало бы держать корову ради навоза. Племенная работа с молочным скотом на Севере велась уже много веков. Сначала ей занимались монастыри, через систему монастырей племенной скот проникал в крестьянские хозяйства, а уж позднее племенной работой вплотную занялись земства, организуя племенные рассадники породистого скота на территории всей Вологодской губернии. Держать породистый скот было престижно.

В 1911 году в Вологде прошла крупнейшая сельскохозяйственная выставка, на которой были представлены не только продукты и товары, производимые селом, техника для обработки земли и переработки сырья, но и племенной скот. Тогда лучшей коровой была признана корова предводителя вологодского дворянства Андреева, коему и был вручен почетный Диплом и денежная премия. На базе андреевской фермы и ныне существует под Вологдой племенное хозяйство.

Сегодня лучшим молочным скотом считается заморская голштинофризская порода. Однако наши ученые порой шутят, что голштинофризы есть не что иное, как испорченная хорошим содержанием наша северная холмогорка.

Холмогорская северная порода молочного скота имеет тысячелетнюю историю, и вполне вероятно, что поморские коровы являются далекими предками голштинофризского скота. Иноземные купцы зачастую увозили из России не только меха и пеньку, но и скот для пропитания в дороге, для скрещивания со своим скотом. А в тринадцатом веке Голландия подверглась такому наводнению, что весь скот ее утонул. Несомненно, что стада ее пополнялись через морской путь с Севера России.

Так что Россия не только «лаптем щи хлебала да решетом воду носила». И не только царская, но и советская, колхозная.

В годы застойные и не столь давние любили у нас рассказывать такой анекдот: «На ферму в орденоносный колхоз «Родина» приезжает первый секретарь Вологодского обкома партии Анатолий Семенович Дрыгин, беседует со знаменитой дояркой, Героем Социалистического Труда Клавдией Петровной Грачевой.

— Скажи, Клавдея, — спрашивает секретарь, — ты три тыщи от коровы надоить можешь?

— Могу, — уверенно отвечает доярка.

— А четыре?

— Могу и четыре, — подумав, отвечает героиня.

— Ну а пять? — не унимается Дрыгин.

— Могу и пять, и шесть, но ведь, Анатолий Семенович, синё будет...»

Впрочем, разбавлять молоко водой в колхозе «Родина», которым командовал дважды Герой Социалистического Труда, крестьянский самородок Михаил Григорьевич Лобытов, не было нужды. Коровы здесь и так доили по пять тысяч и шесть тысяч литров в год. Потому как уход за ними и кормление были настоящими. И сегодня здесь доят не меньше. А в соседнем племенном хозяйстве «Заря» на одной из ферм получили надой в девять тысяч литров молока от каждой, заметим, имеющейся в наличии коровы. Это лучший в стране результат.

Но вернемся к корове Вене, родоначальнице современных рекордов. В конце тридцатых годов Вена стала бить один за другим мировые рекорды в надоях молока. А в сороковом году ею был поставлен мировой рекорд, который долго не удавалось побить. Тогда суточный надой Вены составил 84,2 литра! Восемь с половиной ведер!

Рассказывают удивительные истории об этой корове. Она настолько в своем коровьем сознании прониклась важностью поставленной перед нею задачи, что отдавала рекорду самую себя. Несмотря на усиленное питание (кормили девять раз в день, а доили шесть), кости ее истончились и стали хрупкими, так что на пастбище ее возили на специально оборудованном автомобиле.

Одна беда: от Вены не могли получить бычка. Для того чтобы получить большое потомство, нужен бычок, а рождались у Вены одни телочки.

Эта причина, должно быть, охладила отношение к Вене партийных органов, а соответственно и ученых. Когда началось война, то и вовсе было не до науки. Да и сам Емельянов был мобилизован и охранял с винтовкой военный аэродром. Вена превратилась в обыкновенную корову, для которой весь рацион составляла охапка соломы. Но и в этих условиях она еще долго давала рекордные надои за счет своих внутренних ресурсов, сдоилась с тела и стала похожей на обтянутый кожей скелет. Не обошла Вену и участь коров военной поры. На ней пытались пахать и оборонять.

Алексей Емельянов вновь отыскал Вену уже после войны, с трудом узнав в ней бывшую чемпионку мира. Девять лет из-за бескормицы она не давала потомства, не годилась даже на мясо. Но Вена узнала ученого, потянулась к нему, замычала жалобно. Емельянов решил вновь взять корову под свою опеку. И поразительно: Вена в первый же год огулялась и принесла долгожданного бычка. И в этот же год дала три тысячи литров молока: надой, который считается для коров ярославской породы оптимальным.

Вена умерла своей смертью. Но и после смерти еще долго служила науке. Скелет ее был выставлен в качестве учебного пособия в Вологодском молочном институте.

А мировой рекорд Вены был побит лишь двадцать лет спустя кубинской коровой Умре Бланка — Белое Вымя, которая дала в сутки 127 литров молока, годовой надой ее составил свыше 27 тысяч литров. В Гаване установлен памятник корове-чемпионке.



Алексей Степанович Емельянов, будущий член-корреспондент ВАСХНИЛ и основатель Северо-Западного научно-исследовательского института молочного животноводства и лугопастбищного хозяйства, начал свою деятельность в конце двадцатых. И начал ее довольно успешно. На ферме Дитятьево под Вологдой коровы нашей отечественной ярославской породы, полученной от скрещивания местных пород, стали быстро прибавлять в надоях.

Но у Емельянова нашлись недоброжелатели. В органы поступил донос, что ученый скрывает свое социальное происхождение, что отец его являлся священнослужителем, попом и врагом народа.

Емельянова исключили из партии. А спустя какое-то время на Всероссийском съезде крестьян за высокие достижения в сельскохозяйственной науке (по ферме Дитятьево был получен годовой надой в пять тысяч литров

молока на каждую корову) ему вручают орден Ленина. Там вышла какая-то путаница с документами, и сведения об исключении Емельянова из партии не дошли до наградного отдела.

Емельянов вернулся в Вологду победителем. Кинулись срочно восстанавливать его в партии, но оказалось, что ученый все эти годы в партии состоял. Он предвидел все и регулярно перечислял на партийный счет членские взносы.

Пройдет много лет, и увитый лаврами создатель уникального молочного стада и не менее уникального института, обласканный властями ученый будет бесцеремонно изгнан из собственного кабинета собственным учеником, ставшим на какое-то время новым директором института. К счастью, научная преемственность хоть и была изрядно подорвана, но не прервалась со смертью Емельянова. У него было много учеников и талантливых последователей, которые бережно хранят память о своем учителе и его заветы.

Институт не зря называется институтом лугопастбищного хозяйства. Дело в том, что мы, чаще всего, не подозреваем, каким великим богатством располагаем. Таких лугов, такого разнотравья нет ни в одной развитой сельскохозяйственной державе, где давно уже перешли на искусственно созданные луга и пастбища. А это значит, что нет и таких молочных продуктов.

Знаете ли вы, что такое заливной луг Вологодчины? О, это целый космос! Представьте, что где-нибудь на лесной полянке за десятки километров от большой реки вырастает под солнцем былинка, цветочек аленький. Уронит он после Петрова дня семена свои на землю, а потом вьюги и метели укроют его, а по весне, как растопит снега солнце, подхватит семена эти быстрый ручеек, понесет к ручью большому, из большого в речку малую, из малой в большую реку. А как подопрут воды бесчисленных ручьев и речек Сухону-реку, как переполнится она скленье, упадут миллиарды семян, принесенных за сотни верст на речную пойму, и месяц спустя поднимется в поймах тех буйное медовое разнотравье, от которого голова пьянится и сердце молодо стучит.

А знаете ли вы вкус настоящего вологодского масла? О, этот вкус воистину неповторим! Возьмите на ложечке немного настоящего вологодского масла, положите его на язык, разогрейте чуть и языком раздавите о небо. А теперь вдохните... Чувствуете его особенный ореховый вкус и аромат замирающего под жарким солнцем медового разнотравья.

...Американские специалисты, приехавшие в Вологду учить наших крестьян выпускать конкурентоспособное на мировом рынке продовольствие, были потрясены неведомым им вкусом вологодских молочных продуктов. Таких продуктов, по их заверению, не пробовал даже президент Соединенных Штатов!

Чтобы получить настоящее вологодское масло, нужно еще иметь корову ярославской породы. От голштинофризской коровы его не получить, как не получить от отсфризской, айширской, от черно-пестрой пород. Потому что молоко у них по структуре своей другое. Дело в том, что у ярославки жировые шарики по размерам своим гораздо мельче, чем в молоке от других пород, а каждый жировой шарик покрыт лицевитиновой белковой оболочкой, которая при длительной пастеризации подгорает и дает тот самый насыщенный ореховый вкус.

Казалось бы, чего не хватает нам, чтобы вновь стать лидерами на мировом рынке по поставкам такого замечательного продукта, который недоступен сегодня даже американскому президенту?

Однажды на Вологодском областном партийно-хозяйственном активе выступал член-корреспондент ВАСХНИЛ Алексей Степанович Емельянов. Выступал с докладом о научно обоснованных методах кормления коров. Не зря говорят, что у коровы молоко на языке.

И тут докладчика прерывает первый секретарь обкома партии А.С. Дрыгин:

— Вот вы говорите, что корове нужно в день девять кормовых единиц. Тогда скажите, почему в Усть-Кубенском районе дают четыре единицы, а доят по три тысячи с лишним?

Емельянов обернулся в президиум:

— Знаете, Анатолий Семенович, этот феномен наука не в состоянии объяснить. Его можно объяснить только с партийных позиций!

Зал грохнул. Хотя смешного, если разобраться, в этой шутке совсем мало.

На самом деле кропотливая селекционная работа, которая велась на протяжении столетий, в веке нынешнем, и большей частью колхозном, зачастую жестоко подрывалась следованием не здравому научному смыслу, а партийным лозунгам. Кажется невероятным, но колхозная корова стала учитывать партийную идеологию и искать против нее свои предохранительные меры.

Известно, что главным врагом нашего колхозного села была погода, которая ну никак на протяжении семидесяти лет не баловала земледельца: то весна поздняя, то осень ранняя, то недород, то проливные дожди. И катились чуть ли не ежегодно с севера на юг обозы с лесом для обмена на солому. А с соломы много ли проку...

Чем отличается наша корова от коровы западной. Прежде всего психологией. Западная не думает о том, накормят ли ее завтра, подоят ли? Она все свои ресурсы на главное дело — производство молока направляет. А нынешняя российская корова опытом не одного поколения научена, если сегодня в кормушке много, то это не значит, что и завтра поесть дадут. А потому она про запас в себе ресурсы откладывает, чтобы в трудную минуту с голоду не умереть. Стыдно, право слово, господа, перед скотиной стыдно! Тут уж надо в нашей с вами психологии разбираться.

Если коровье стадо с человеческим сообществом сравнивать, то такое сравнение, думаю, будет не в нашу пользу. Вот, к примеру, собирают стадо коров на одном дворе. И начинается у них внутренняя разборка, междоусобица. Одна другую норовит рогом поддеть, третья копытом соседке в брюхо метит. Рев, шум, надои на самую низкую отметку падают. Совсем как у людей. Но вот и разница: через десять дней в стаде коровьем иерархия внутренняя устанавливается и воцаряется мир и покой, надои опять же вверх идут.

В начале прошлого века департамент земледелия Соединенных Штатов Америки провел грандиозную работу по определению перспективных сельскохозяйственных угодий планеты. Руководил этой работой академик Криштафович, бывший земский агроном из Архангельской губернии. Результаты этой работы были для многих специалистов неожиданными. Самыми перспективными землями признавались земли Северо-Запада России. Зона рискованного земледелия, Нечерноземка...

Почему тогда так высоко оценили их американские ученые? А потому, что здесь никогда не бывает засух, здесь достаточная температура для созревания растений, здесь обилие не прямой солнечной радиации, выражающееся в длинном световом дне. И здесь, наконец, достаточное плодородие почвы. А лессовые, очень урожайные почвы доходят до среднего течения Печоры.

При развитии новых технологий выращивания селхозкультур, промышленном производстве удобрений, эти выводы вовсе не кажутся фантастическими.



Анатолий Семенович Дрыгин.

А сегодняшние прогнозы экологов подтверждают выводы команды Криштафовича. Глобальное потепление климата приведет к тому, что уже к 2010 году вся тяжесть продовольственного обеспечения планеты ляжет на Канаду и Северо-Запад России.

Так что же тогда мы, россияне, вот уже десять лет бодаемся, шумим, за место под солнцем боремся, про дела свои забыв. Пора бы уже и за ум браться.

По дороге из Молочного завернул я вновь к Нине Сергеевне Патакиной.

— Наведаются ко мне внуки, со товарищами своими придут: «Бабушка, расскажи чего-нибудь из прежнего». Заведу разговор про праздники старинные, свадьбы веселые, гулянья просторные. А потом опять на свое поверну. Гармошку возьму да заиграю:

А ни коровы, ни козы,
Не коси, не майся...
Только с мылом на печи
Лежи да обнимайся!

Сыграю так да спою. Спою да скажу: «Хорошо, ребята живете. Вольготно. Только на кочке-то не пролежишь. Держитесь земли, мои милые».

Никольский таракан

В Никольском районе принимали Дрыгина. Район дальний, не часто сюда начальство наведывается, тем больше переживаний свалилось на голову районных властей.

Дрыгин был дотошен, заглядывал на самые дряхлые фермы, в самые лядящие деревеньки. Молчал.

К вечеру повели самого отобедать в столовую. Подали специально для него сваренный борщ. Дрыгин молча хлебал. А кругом стояла районная челядь в тревожном ожидании: понравится ли самому угощение?

И тут ложка Дрыгина остановилась на половине пути. Дрыгин сморщился и аккуратно вытряхнул на стол рядом с тарелкой большущего рыжего таракана. Мертвящая тишина повисла над столом. Ужас! Что-то сейчас будет?

Однако Дрыгин как ни в чем не бывало принялся хлебать дальше.

Первым из оцепенения вышел зав. столовой.

— Анатолий Семенович! Мы сейчас. Мы заменим! Анатолий Семенович! — взмолился он, заикаясь.

— Не надо! — отмахнулся Дрыгин. — Еще какого лешего мне в тарелке подадите.

Таракана до конца своей поездки так и не вспомнил. Начальство уж и дух перевело, когда «кукурузник» с Дрыгиным на борту скрылся за горизонтом: «Пронесло!».

А через месяц на пленуме обкома выступает Дрыгин с докладом. В середине прерывается: вот, говорит, был я в Никольске. Видел, как там коров к стропилам подвязывают. Ноги коров с голодухи не держат. Но зато там таких тараканов откармливать научились! Пора бы им передовым опытом поделиться...

«Рожденный тяжеловозом»

В недавнем прошлом колхоз «Родина» Вологодского района считался одним из лучших в России.

В последнюю для страны пятилетку колхоз достиг символических трех пятаков. Надой молока на корову составлял пять тысяч литров в год. Урожайность зерновых — пять тонн с гектара. Конечно, молоко можно было разбавить, урожайность приписать, но третий показатель говорил об истинности первых двух. Чистая прибыль ежегодно составляла в колхозе пять миллионов рублей.

Почти сорок лет стоял у колхозного руля Михаил Григорьевич Лобытов, единственный в области дважды Герой Социалистического Труда. Когда-то я записал некоторые истории, рассказанные о Лобытове его коллегами.

— Просто Лобытову урожай в полста центнеров собирать, — жаловались порой директора соседних хозяйств. — Вон у него сколько торфу и компостов вывезено на поля. Не наше горе!

Лобытов на такие жалобы реагировал по-особому. Пока соседи раскачивались, собирались заправлять поля, в «Родине» весь торф, отпущенный по разнарядке с Турундаевского болота, вывезен...

Звонит в город:

— Если кто с торфом до срока управиться не может, так мы его себе заберем, чтобы не пропадало.

Осенью скажет:

— Как потопал, так и полопал.

Из «Родины» не выезжают делегации.

— Поделитесь секретами высоких урожаев!

Лобытов на трибуне понижает голос:

— Честно сказать, все дело тут в г...ще. Берешь его побольше, везешь на поле, запахиваешь. А больше г...ща положишь, больше урожай вырастет. Больше зерна и соломы, лучше скотину кормим, она больше г...ща дает. Больше его в землю положим, больше урожай получим, опять же лучше скотину кормим...

Вот так и живем. Вся ставка на г...ще...

Звонят Лобытову из обкома партии:

— Михаил Григорьевич! Тут у нас товарищи из ЦК. Не покажете ли им Ваше хозяйство, комплекс в Харьчеве?

— Показать не жалко. Пусть приезжают.

— И еще одна просьба. Организуйте для них обед. У вас там столовая хорошая и комната подходящая есть.

— Отчего не покормить? Покормим, — отвечал Лобытов. — Ждем.

— Вот и прекрасно, — обрадовались в обкоме партии и положили трубку.

— Опять обкому денег жалко, — сказал Лобытов своему помощнику. — Хочет за наш счет гостеприимным выглядеть. Пусть едут.

Делегация скорехонько осмотрела животноводческий комплекс, далее — в столовую. Зал для гостей готов, столы накрыты. Гости сытно отобедали и, подобревшие, стали выражать благодарность Михаилу Григорьевичу. Лобытов раскланялся, а когда машины с начальством скрылись за поворотом, набрал номер бухгалтерии:

— Валентина! Не забудь счет в столовой взять за угощение. Там на двадцать два рубля тридцать копеек. Отошли его в обком. Пусть оплатят. А если не оплатят, то отправь в ЦК. Пусть Центральный Комитет платит. У нас колхоз, а не богадельня.

Лобытов не любил поездок в верха и приемов у высокого начальства. Проку в этом особого не видел.

— Вы уж нас извините, мы люди практические. Мы теорию туговато воспринимаем, — деликатно отклонял он наставления, идущие сверху. Однако не всегда удавалось избежать посещения высоких кабинетов. Было время, когда повсеместно начали ликвидировать колхозы и открывать на их базе совхозы. Колхозники теряли право распоряжаться заработанными деньгами и имуществом. Государство брало эти функции на себя. И вот тут Лобытов грудью встал на защиту колхозной собственности и демократии. Дошел до самых верхов, но колхоз сохранил. Потом в присутствии большого начальства мог позволить себе этакий кураж:

— А мы колхоз. Что хотим, то и делаем. А вот возьмем и всю прибыль раздадим колхозникам. Это тысяч под сто выйдет на брата.

— Эй, Ванька, — окликает он мужика, сидящего с цигаркой в тенечке, — тебе деньги нужны?

— Нужны. А как же?

— А зачем?

— Пойду поллитру куплю.

— Ну на поллитру и трешника хватит. Я про большие деньги говорю. Тут и запиться можно.

— Не, больших мне не надо. Солить их, что ли?

— Ладно, убедил. Раздавать не станем. Купим лучше новую сушилку да комбайнов новых.



...Как-то перед очередным партийным съездом пришла правительственная телеграмма с требованием прибыть такого-то числа во столько-то на прием к заведующему отделом сельского хозяйства ЦК товарищу Капустяну. С отчетом. Тут уж не отвертишься. И работа над отчетом пошла полным ходом. Под руководством райкома. Под контролем обкома. Секретарь парткома колхоза Сергей Козырев со специалистами написал, наверное, полтора десятка вариантов этой справки, а руководство выдвигало все новые и новые требования. Наконец, справка легла на стол секретаря обкома по селу. Тот справку одобрил и тут же сел ее переписывать.

Наконец, Козырев с Лобытовым едут. Как министры — в спальном вагоне. На вокзале встречает их машина ЦК и везет в гостиницу «Россия» в двухместный номер из трех комнат. Полчаса спустя — телефонный звонок:

— Пропуска заказаны. Прибыть в такой-то кабинет.

Далее Лобытов с Козыревым попадают в строгие руки инструкторов. Все справки проверены, замечания сделаны, недостатки устранены, бумаги перепечатаны, инструкции выданы: как вести себя в высоком кабинете, что говорить и о чем умолчать, как отвечать и когда отвечать не положено...

Спустя время ведут их на нужный этаж к кабинету. Отворяется дверь, и из-за стола, протягивая руки, подымается скромный улыбающийся, с ленинским прищуром глаз, человек, радушно приветствует гостей, усаживает, угощает чаем с сушками.

Спросив про погоду и виды на урожай, достает скромный человек папку с золотым тиснением, открывает ее и с карандашиком в руках пробегает сводки по надоям и привесам. И чем дальше он читает их, тем мрачнее и суровее становится.

— Это как же так понимать? — спрашивает он строго гостей. — Да как можно мириться с такими результатами работы? Это разве рост? Это разве показатели?

Лобытов сидит спокойно, не возражает. Не велено. А Козырев и вовсе парнишка, только-только с комсомола.

А Капустян дальше расходится:

— Видимо, верно сказано: кто рожден тяжеловозом, скакуном никогда не станет. Видимо, зря мы тебя, Михаил Григорьевич, на вторую медаль тащим. Лобытов покраснел, а молчит. Не велено возражать. Да и что возразишь?

...Вечером добрались до гостиницы. Накупили карамели в подарок родным, сели перекусить в буфете перед отъездом. Молодому старому спрашивать неудобно. Первый раз в жизни видел он, чтобы вот так его шефа чистили. Но Лобытов сам заговорил, усмехаясь:

— Ты, Сережа, не заметил, что справку-то он читал не нашу? Чья-то другая справка ему попала. Видать, инструкторы в запале перепутали. Я уж его поправлять не стал. Рожденный скакуном, не может быть тяжеловозом.

Звонок из ЦК:

— Поздравляем, Михаил Григорьевич! Только что Политбюро приняло решение о награждении Вас второй медалью «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда. После обеда будет заседание Верховного Совета, на котором должны это решение подтвердить. Ждите по радио правительственных сообщений.

Михаил Григорьевич положил трубку, и слезы потекли по его лицу. Мог ли помыслить он, деревенский полуголодный парнишка, что когда-то достигнет таких вершин!

Но предаваться воспоминаниям было некогда. Плотно пошли звонки с поздравлениями. А за его спиной уже всюю шла подготовка к приему вышестоящего областного начальства. Принять — дело нехитрое. Но вот беда: как быть со спиртным, которому объявлена беспощадная война?

Приняли все меры предосторожности. Отпустили работников конторы по домам. В дверях поставили охрану из самых надежных и проверенных дружинников, из руководящего состава остались самые приближенные. А водки, вина, как на грех, нет в магазине. Нашли бутылку шампанского на квартире завмага, пошли собственные запасы трясти. Еле-еле наскребли на застолье.

Вместо банкета тайная вечеря получилась.

Одно время было модным лечиться овсом. Логика прямая: лошади овес едят и вон какие здоровые живут. Жена одного корреспондента центральной газеты тоже реши-



Валентин Александрович Купцов и Михаил Григорьевич Лобытов.

ла попробовать овсяной диеты. Посылает мужа в деревню за этим натуральным продуктом. Тот до «Родины» доехал, в контору пришел, а вот к самому Лобытову обратиться постеснялся: стоит ли за такой мелочью тревожить председателя крупнейшего хозяйства.

Пошел по низам. Так и так, говорит.

— Сделаем, какой разговор, — отвечают в низах. — Вот только к Михаилу Григорьевичу за дозволением сходим.

И верно, пошли к Лобытову.

— Корреспондент, — говорят, — овса просит. Дадим или как?

— Отчего не дать хорошему человеку? Пусть выпишет в бухгалтерии, оплатит. Квитки возьмет и на склад едет получать, — соглашается Лобытов.

Выписал корреспондент бумаги, оплатил, поехал на склад. Птицы под крышей парят, как в поднебесье. Сусеки забиты под самые стропила.

Кладовщица бумаги приняла, отвесила корреспонденту полпуда овса, а вот куда его высыпать, не нашла: у корреспондента тары не оказалось.

— Ладно, — говорит, — возьмите наше цинковое ведро. Только с возвратом.

Уехал корреспондент с овсом поправлять здоровье. А, наверное, год спустя присва-

ивают Лобытову вторую медаль Героя. В колхозе по этому поводу — митинг. Все начальство, все видные сколько-нибудь деятели, вся пресса и телерадио в «Родину» катят. Едет и наш знакомый. Вокруг Лобытова столпотворение чинов и авторитетов. Еле очереди дождался:

— От имени и по поручению разрешите Вам, Михаил Григорьевич...

— Погоди, погоди, — остановил его Лобытов. — Скажи лучше: ты мне ведро цинковое привез?

Михаил Григорьевич был уже в преклонных годах. Присылают ему на вычку группу слушателей высшей партийной школы.

Мужики — кровь с молоком. Пожалели Лобытова: такое хозяйство вести — не башкой трясти.

— А чего мне уставать? — отвечал спокойно Лобытов. — Я на работе отдыхаю. Приду, посижу — и домой. У меня специалисты работают. А я так, руковожу...

На выходные стал собираться на охоту. Стажировщики приступились: возьми да возьми. Потом были и сами не рады, так загонял их старик по лесу, что еле ноги приволокли.

— Ничего, — говорит, — на работе отдохнете. Главное там процесс запустить, а потом все само собой пойдет.

По закону дважды Героям Социалистического Труда на родине устанавливается бюст. Вылепили и Михаила Григорьевича, отлили в бронзе, водрузили на гранитный постамент у колхозной конторы.

Не любо было такое соседство председателю.

Выглянет в окно:

— И чего этого идола тут взгромоздили! Столько денег вбухано. Деньги, хоть и не колхозные тратились, а все равно жалко.

Немного погода снова выглянет:

— Опять вороны мне всю голову обляпали!

В отставке

Дедушка Петро Стогов прожил Аридовы веки. Стоит целыми днями у галдарей, опираясь на можжевельный посох, выглядывает: не пройдет ли кто мимо, с кем бы поговорить. Рассказывает мне, как воевал «ерманца», участвовал в Брусиловском прорыве, самого генерала видел. Заслужил Георгия, а сына на глазах убило. В одной сотне служили.

— Вот, думаю, перевалит за сотню годков, так полегче станет. Ан нет, не полегчало.

Работал в колхозе до 95 лет. За коням ходил, упряжь чинил, дровни, телеги. Под конец дочка его, Матрена, а ей 79 годов было, вовсе ему ничего делать не давала.

Раз весной привезли дрова. Лежат в заулке, неколотые, горой. Дух от сырых дров забористый, пьяный. Аж на печке невмоготу. Не утерпел дедко, слез потихоньку – и во двор...

Матрена проснулась: стучит и стучит что-то во дворе. Вышла. А там батько дрова колет. Заругалась:

— Ты почто меня, тятя, перед деревней срамишь, али я сама не управлюсь?..

Умер дедко Петро в 105 годов. От сердечной недостаточности. Жаловался:

— Я бы ищо пожил, дак от всех делов отстранили.

От земли

Более колоритной фигуры, чем Тимофей Александрович Иванов, среди бывших председателей колхозов я не знал.

Тимофея Александровича узнали мы после укрупнения колхозов, когда наш маленький колхоз, гремевший своими достижениями на всю область, слился с несколькими другими в один большой колхоз «Шексна», растянувшийся в длину километров на тридцать. У колхоза-гиганта и председателем стал настоящий гренадер. Ростом Тимофей Александрович был под два метра. Кулаки по пудовой гире. Хмурый под кочками бровей взгляд, массивная челюсть, двигавшаяся словно на шарнирах, редкая, малословная речь. И правил Иванов круто.

Как живая, стоит в глазах картинка. В колхозе нашем после укрупнения мужики ударились в пьянку. Наверное, снимали психологический стресс. Кому понравится, что тебя, словно крепостного, со всей семьей, имуществом и домом взяли и другому барину продали.

Как ни боролись с пьянством – не остановили его. Пели даже частушки в сельском клубе про каждого пьяницу персонально:

Без будды напился пьяный
Дядя Миша Поздняков,
Всю семью из дома выгнал –
Поглядите, я каков!

Или:

Мы Ехремова спросили:
«Ты куда пошел один?» –
«Вот история какая:
Так и тянет в магазин!»

Мужики серчали, бузили, но пили по-прежнему. А народ был в нашей деревне отчаянный. Бывало, праздника не пройдет, чтобы кого-нибудь в пьяной драке не захлестнули или не зарезали.

И вот в знойный летний день на крыльце нашего магазина сидели мужики и пили в тенечке горькую, проклиная новые порядки и власть, как тут раздался пронзительный крик:

— Тимоша едет! Тимоша толстой!

По дороге бежали вприпрыжку ребяташки и орали во всю мочь:

— Толстой! Тимоша!

И тут случилось невероятное. Словно горох посыпались мужики с крыльца и пошли на уход. Кто огородами, кто в канаву упал и пластуном по канаве, кто за сарай спрягался...

По дороге, поднимая тучу пыли, летел «газик», левая сторона которого заваливалась под грузом председателя тела.

...В биографии нового председателя был неприятный эпизод. Тимофей Александрович отбывал в местах не столь отдаленных срок за убийство. Не рассчитал силу удара, защищаясь: превышение допустимой обороны. А места были и в самом деле не столь отдаленными. Зона была через реку от дома. Потом, спустя годы, когда Иванов стал знаменитым на всю область председателем, кавалером ордена Ленина, приглашали его на традиционные Дни полезных дел в колонию. Он приходил со своим бригадиром Георгием Андреевичем Кадыковым, Героем Социалистического Труда, который тоже сживал на этой зоне: на гулянке обидчику своему ножичком заднее место продырявил. И вот сидели они оба два, облаканные партией и государством за трудовые подвиги, в президиуме, и колонийское начальство, обращаясь к заключенным, советовало брать пример с бывших выпускников учреждения, достигших таких высот.

С приходом Тимофея Александровича получили наши старухи пенсию. Раньше колхозникам пенсии не полагалось. Получили они колхозный пенсион шесть рублей в месяц. Да и колхозников стали рассчитывать не только урожаем, но и деньгами. Первые деньги в нашей деревне! Богатеть начали быстро. И это обстоятельство год за годом смиряло наших колхозников с ивановским крутым правлением. Год Иванова ругали и боялись, боялись и ругали, но приходило отчетное собрание, выплачивались дивиденды, самые большие в районе: по рублю на заработанный рубль и более, — и правление Тимофея Александровича получало единодушное одобрение.

Самым богатым человеком, конечно, считался сам Иванов. Был он до изумления бережлив и даже скуп.

У колхозников дома тесом обшиты, а у председателя — соломой обставлен. Штаны на председателе сплошь состояли из заплат. Был еще знаменитый очешник иванов-



ский, весь растрескавшийся от старости, но аккуратно заклепанный медными скобочками. В этом очешнике была вся колхозная бухгалтерия председателя. Там, под фланелькой, лежали многочисленные записочки с циферками, в нужный момент Иванов доставал клепанный очешник, вытаскивал из-под фланельки записочки и говорил речь. Малословную, на крутое «О», с вологодским «цеканием».

Первый секретарь райкома партии, писатель Дмитрий Михайлович Кузовлев не раз предлагал членам бюро скинуться Тимофею Александровичу по десять копеек на новый очешник. Но Иванов решительно возражал против этой гуманной акции.

— Вот еще. деньги-то тратить!

И только перед самым уходом на пенсию эту чрезмерную скупость председателя будто прорвало. Из Череповца привез в дом целую машину полированной мебели, купил в личное пользование белую «Волгу», хотя вряд ли у него были какие другие дела, кроме колхозных.

Не терпел Иванов чужого вмешательства в дела колхозные. Тут уж можно было и схлопотать. Как-то раз приехали в район гаишники из Вологды проводить рейд. Выставили пост на территории нашего колхоза. Недолго и подождали, как едет на «Волге» здоровенный мужичина.

Решили проверить документы, властно палочкой на обочину показали. А мужик едет дальше, как будто бы на дороге и нет никого. Кинулись в машину догонять.

И тут «Волга» остановилась. Подбегает к ней молодой лейтенант, открывает разгневанно дверцу, а оттуда ему под нос здоровенный кулачище.

— Вот сейчас, — говорит мужичина, — как дам в морду!

Дверцу захлопнул и уехал.

После того случая с год, наверное, пришлось ездить Тимофею Александровичу без прав.

Как-то мы убрали картошку на колхозном поле. Я работал тогда в той самой колонии. Поля были огромные, работали мы старательно. И через неделю весь урожай был отправлен в колхозные закрома. Мы варили обед на кромке поля, когда на другом конце поля появилась лошадь с телегой. В сентябрьском остывшем воздухе далеко слышно было позванивание бутылочного стекла. Следом за лошадью ехал «газик», заваливаясь на левый бок и выдавая шофера.

Это ехал Иванов с благодарностью.

— Вот, — сказал он, смущаясь, — литки. Спасибо. Хорошо пороботали. Пейте топерь. Сделал дело — гуляй смело.

Ящик без одной бутылки выгрузили у костра.

Наш старшой свернул пробку, налил стакан тонкий на 250 граммов:

— Тимофей Александрович, может, с нами стаканчик?

Иванов потоптался грузно, крякнул:

— Ну, биде, стакашок дак можно.

Стакан в его руке превратился в стопочку. И ни один мускул не дрогнул на председателевом лице. Кто-то сунулся с яблоком.

Иванов отмахнулся:

— Не надо.

Молча постоял.

— Может, еще стаканчик? — спросил наш старшой.

— Ну биде еще стакашок так можно.

...После третьего он пожевал от назойливо протягиваемого ему яблока, сел в освещенных на левую сторону «газик» и укатил по делам.

— Ну мужик! — восхищенно выдохнула толпа шефов, выдавшая в своей колонии строгого режима народу всякого и уже уставшая удивляться.

Новые председатели, приходившие после Иванова, казались мелкими и незначительными. И Петр Федорович Коркин тоже казался против Иванова мелковат...

Прошли годы перестройки и реформ, едва не подчистую разваливших село. Но вот приехал я на свою родину, встретился с Коркиным, с доярками, с зоотехниками — и душой воспрял. У Коркина на комплексе коровы одна другой били рекорды, оставив позади знаменитую рекордсменку Вену.

Нет переводу, знать, русскому мужику-хозяину, по которому тоскует земля.

Менистр Олеша

Олеша Пудов — личность в деревне значительная. Даже больше. Кажется: не будь Олеша, не было бы и деревни. Или была бы она совсем не та, как балалайка без струны: брэнчать можно, а не сыграешь.

Дом у Олеша — точная копия хозяина, в переду широк, кособок, но задубел, крепок. Из-под лобастой крыши маленькие оконца шуруются, словно всей улице вызов бросили. Таков и хозяин. Кривоног, осанист, глазки — под кочками бровей — маленькие, словно выпрашивают: давай-ка, мол, потягаемся кто кого?

Хозяйство у Олеша самое что ни на есть бестолковое. Однако, по мнению самого, лучше дела никто не ведет, да и не может. Хоть за что возьмись. Ружье, из которого лет десять никто не стрелял, — самое убойное и меткое; собака — большой специалист по любому зверю, хотя все знают, что специалист по чужим гнездам. Олешина корова на своем веку не одного медведя закатала, о чем и газета писала, но он ту газету ошибочно искурил; и так далее — до самого последнего гвоздя в стенке.

В деревне говорили, что предложи Олеше пост министра — не задумываясь пойдет. Поэтому и звали его в глаза и за глаза «Менистром».

Переспорить Олешу еще никому не удавалось. Ради потехи к нему мужики из соседних деревень спорить ходили. Зимой делать нечего, соберутся у Егора Опарина или Афони в карты поиграть, посылают за Олешей. И начинается. Иной раз сутки двоим спорят.

Особенная гордость Олеша — часы, тут уж его не тронь. Готов биться об заклад на Куранты против своей «Победы».

— А что, — говорит, — бывает, и Москва ошибается. А вот был такой случай. А мои из тютельки в тютельку...

Темная бутылка

Долгое время в нашем деревенском магазине торговал Николай Афонин. Все гладко да ладно шло, пока не пристрастился завмаг к горькой. Бывало, до чего доторгует, что упадет за прилавок, а двери полы. Благо, в деревне про воров не знали. Однако снимать завмага пришлось.

Ну а после и началась маята. Кто за это дело ни возьмется, одна поруха. Больше года никому не поработалось. Как ревизия, так и растрата. До чего дошло: торговать взялась бывшая учительница математики Анисья Мартыновна, да и та быстро этот пост оставила, тоже недостатку выявили.

На магазине больше месяца замок красовался. Не было больше желающих в завмаги. А без магазина матушку-репку запевай.

Выручил всех Олеша. Запряг мерина Дозора и поехал в сельпо.

Председателем в то время Иванов был. Вот и выкладывает ему на стол Олеша заявление. Мол, так и так, прошу назначить меня завмагом.

Иванов удивился:

— Да ведь у тебя, Алексей Иванович, всего два класса, а тут и Анисья Мартыновна не справилась.

Пудов ему резонно замечает:

— Анисья Мартыновна против меня — темна бутылка!

Полжила погиблы

...Выборы в местные Советы. Деревня принарядилась. У бригадной конторы с утра праздный народ. На галдарее в тенечке пристроился с выездной торговлей Олеша Пудов. Из района привезли растаявшие в пути конфеты, банки с повидлом и бочку пива.

Мужики гудят у бочки, старухи интересуются сладостями.

— Олеша, батюшка! Свешай-ко полжила погиблы!

Пудов взвешивает повидло, придерживая, как заправский торговец, скалку весов пальцем, покрикивает на жиденькую очередь и чувствует себя генералом, принимающим парад.

К обеду мужская половина деревни уже готова к подвигам. Срежь лужайки раскрасневшийся Пудов тягается на пальцах с Иваном Калиничевым. Иван явно перетягивает, и Пудов кричит про неправильный загиб пальца и требует повтора.

Ребятня, оседлав бочку, катает ее по деревне, сомлевшие от жары собаки лениво долизывают из жестянок остатки «погиблы»...

Торговал Олеша с полгода, несколько лет выплачивал недостачу. Жена его, осмелев, носила по деревне:

— Я ему, Менистру, все одно голову отшибу!

Сенокос в Тринадцатом квартале

— Кру-ук! — над головой в знойном мареве кружит ворон. Птица поднялась в самое поднебесье и кажется с земли маленьким черным крестиком. Ему, наверно, оттуда далеко и широко видна наша грешная, измученная неустройством и небрежением и все же прекрасная и щедрая земля. С медоносными лугами и шатровыми борами, багряными от клюквы болотами и звонкоструйными харьюзовыми речками...

Говорят, что вороны живут по триста лет. Какие события прошли под приглядом этой вещей черной птицы? Может быть, видела она с высоты своей царя Петра со свитой, обедающего стерляжьей ухой на речном берегу. Может быть, оглядывала деревянные кочи вологодских мореходов, идущих в рисковый поход по студеным морям к берегам загадочной земли Аляски за черными лисами? Может быть, этапы раскулаченных, гонимых в заснеженную тайгу в наспех сколоченные бараки?

— Кру-ук! — отмеряет ворон в поднебесье быстротечное время. Внизу под крутым берегом перебирает замшелые камни река. Нет-нет и вымоет она диковинный камешек, круглый с дырочкой посредине, — амулет древнего человека, некогда обитавшего в этих самых краях, в этих лесах, где аукаются отпускники горожане, на этих лугах, где ставят сенокос последние деревенские старики. Молодые уже не ставят.

Археологи отмечают на речке несколько стоянок древних людей. А недавно местный фермер Николай Битюков, возвращаясь из лесу с корзиной грибов, заметил в береговой осыпи какой-то странный белый камень. Ткнул носком сапога — оказалась кость — целый бивень мамонта.

По утрам на деревне звонко бьет барабанка, собирая в поскотину небольшое деревенское стадо. Чуть позже протарахтит тракторишко фермера, первого жениха на деревне, пенсионера Николая Битюкова, отправляющегося в лес за грибами.

А сам Никола, подражая знаменитому певцу пятидесятых Полку Робсону, распевает горловым басом на всю поднебесную:



Широка страна моя родная,
Много в ней полей, лесов и рек...

И вторит ему беломошный бор:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек...

А деревню нашу называют Тринадцатым кварталом. Это официальное название, доставшееся ей с тридцатых годов, когда загоняли сюда на лесозаготовки под надзор комендантов раскулаченное крестьянство. На той стороне реки в сосновом бору, где едет с песнями Никола, потомок раскулаченных крестьян с Харьковщины, поросло соснами уже забытое кдадбище. По весне подымутся воды, взроет норовистая льдина речной берег и падут на дно, и отбелятся рекой и песком чьи-то горемычные кости.

Вот и я прижился на краю сего поселения. Вдыхаю полной грудью воздух разнотравья и сосновых боров, прокаленного солнцем багульника и сырых низин, где водят хороводы щеголихи волнухи в юбках с бахромою. И кажется мне, что вместе со всей этой благодатью пью я воздух тысячелетий. И вся наша суэта сует кажется мне совсем уж никчемной пред величием и непостижимостью мироздания.

Каждый день около полудня со стороны деревни появляется в лугах белое пятно. То и дело распадаясь и соединяясь вновь, оно медленно продвигается в мою сторону. До деревни метров пятьсот, и через полчаса уже можно явственно видеть маленькую старушонку в белом платке, черном суконном пиджаке, красных шароварах и коротких сапожках, бредущую вдоль реки в сторону леса. Бабуся опирается на еловый, отполированный руками посох. За спиной ее мешок, сооруженный из наволочки, в котором, я знаю, лежит скипа присоленного хлеба, три вареные картошины нового урожая да еще сапоги с долгим голенищем, чтобы перейти у речки Леденьги ручей Перовку, не намочив больных ревматизмом ног. Вслед за бабкой, то обгоняя ее, то возвращаясь, следуют белая козочка Мила с сыночком Яшенькой, у которого уже начинает кучерявиться над крутым лбом нахальный козыльный чубчик.

Бабуля бредет к устью реки, где в старопрежние времена были привольные монастырские угодья. Там ее нынешний сенокос, нарезанный властями, – соток семьдесят заливных лугов. До лугов еще километра четыре, и бабка едва ли к вечеру попадет к своим стожарам.

Бабкина дорога лежит через мой дом.

— Толька, — еще издали кричит она. — Как там в Москве-то? Здоров ли хоть президент-от?

— Да говорят, что здоров, хотя ж кто его знает... Разве нам скажут, — отвечаю я уклончиво.

— То-то и оно, — подтверждает бабка. — Борька вон Битюков сказывал, что не может ему. Упелтался с выборами-то, намаялся. Столько народу надо было уговорить, вот и занедужил...

Она присаживается передохнуть на скамейку у дома.

Миля с Яшенькой укладываются у ее ног, пережевывая жвачку, поглядывая на меня мудрыми всепонимающими глазами.

Старую добрую мою знакомую зовут Ниной Ивановной Крюковой. Ей уже на восьмой десяток. Двоюродная сестра Павла Ивановича Беляева, одного из первых космонавтов СССР. Прежде работала сучкорубом в Бабушкинском леспромхозе, заработала в придачу к малехонной пенсии еще ревматизм, который сживает ее нынче со свету и не дает закончить сенокос.

Живет Нина Ивановна в маленькой холодной лачужке, оставшейся от некогда могущественного богатейшего леспромхоза. Но леспромхоз вдруг со всей его техникой, движимым и недвижимым имуществом исчез, истаял, словно весенний снег, на руках у Нины Ивановны осталась красивая бумажка-сертификат, в которой говорится, что она, Нина Ивановна Крюкова, является акционером акционерного общества «Викинг форест лимитед». Еще хранится в комодке у Нины Ивановны сберегательная книжка, на которой прописаны все труды всей ее жизни. Кроме работы в лесу Крюкова занималась выращиванием крупного рогатого скота. Более сорока быков вырастила и сдала государству. Денежки все на книжку оклала. Осталась теперь эта книжечка только для просмотра.

С Крюковой знаком я уже лет десять. Снимали мы с режиссером Сашей Сидельниковым кино о трагической судьбе русского крестьянства и, собирая материал для сценария, заехал я в лесной поселок с путающим названием Тринадцатый квартал. У маленького клуба висела самодельная афиша, извещавшая, что в это самое время в клубе происходит выездной показательный суд над гражданкой Крюковой, обвиняемой в получении нетрудовых доходов. Я пробился в заполненное людьми тесное помещение и увидел у судейского стола маленькую старушку в плюшевой мало одеванной жакетке, новых, еще не обмятых валенках.

— Итак, гражданка Крюкова, — строго спрашивал прокурор. — признаете ли факт кормления крупного рогатого скота продуктами хлебопечения?

Бабка растерянно крутила головой.

— Скотину хлебом, спрашивают, кормила? — радостно подсказали из зала.

— Да ить как, — обратилась бабка к прокурору. — Разве к бычку без корочки пойдешь? Всяко ведь и ты, голова садовая, к бычку без кусочка не выходишь?

Прокурор досадливо сморщился, публика захохотала, суд удалился на совещание.

Приговора я не слышал, за мной приехали. Но на следующий день я прямым ходом отправился к вчерашней подсудимой. Она стояла на крыльце барака в старой фуфайке, уваженных катаниках и выглядывала кого-то из-под ладони.

— Чего-то я тебя парень не знаю, — сказала она без церемоний.

— Да командированный я, — отвечал я.

— Вербованной? Ну, коль так, заходи чай пить.

Она шустро собрала на стол молоко, хлеб, поставила чайник. Села напротив, сложив тяжелые, перекрученные венами руки.

Я с удивлением узнал, что держит Нина Ивановна Крюкова корову, огромного быка, нетель. Что сама заготавливает до десяти тонн сена на них, что сама косит, и сама стогует. С лестницей.

— Тятя-то мой на леволюционера учивси. У них Карс Марс да Финдрих Энгельс учителями-то были. Да еще Владимир-то Ильич с Осипом Виссарионовичем. Только вот он на большое правленье не попал, сельсоветом командовал, в колхозы всех загонял.

Мы первые в колхоз зашли, а тятя возьми да и помри. Потом в колхозе-то голодно стало. Слышим, на лесоповале кормовые дают и паспорта... С тех пор вот тут и живу. В бараке.

Пойдем-ко, пойдем, поглядишь бяляночек моих маленьких... Ребяток моих само-лучших...

Она принялась готовить ароматное пойло, сбеливая его щедро молоком.

— Вот прокурон и говорит, — рассказывала она между делом, — пятьсот рублей с тебя! Не корми, говорит, боле скотины хлебом.

Она подала мне два ведра с теплым пойлом, сунулась снова в кухню и вынесла три присоленные скипы хлеба. За бараком стоял рубленый из мелкого леса сарай, стены которого будто бы от непомерной тяжести разъехались в стороны и были подперты дрекольем.

Заходил я туда с большой опаской, что это сооружение сейчас рухнет и погребет нас под своими обломками.

Белянки, услышав хозяйку, подали свои голоса.

— Милые вы мои, кушайте, кушайте! — приговаривала она, усаживаясь с ведром под большуху. Через мгновение звонкие струйки ударились в подойник, с каждой минутой становясь все глуше и глуше.

— Ишь, чего выдумал, — добродушно ворчала она. — Без кусочка...

...С прошлой зимы сил у бабки на крупного скота не стало, завела вот Милу с Яшенькой, которые бегают за ней, словно собачки.

— Яшенька-то у меня славный козлик. Кроша. Самый лучший на свете Кроношка, — бабуся оглаживает лежащего у ног козлика. — Этта пришли с Кроней к Борису Васильевичу. А он, Яшенька, на столик выскочил да и написал Борису-то Васильевичу в картуз. А Борис-то Васильевич не заметил да и надел картуз-то на голову. «Кры-

ша, — говорит, — у меня, что ли, течет? Полный картуз налило...»

Она подымается со скамейки, не в силах уже разогнуть сторбленную трудами спину.

— Отвези-ка, давай, меня до Перовки, — на правах друга предлагает она мне. И я везу ее на своей выдавшей всякие виды колымаге, рискуя оставить навечно ее на разбитой лесной дороге.

...У брода высаживаю свою пассажирку. За рекой, на пожнях, две бабули, годов под восемьдесят, метают стожок. Слышно, как Крюкова ругает с покосницами по-году.

— За кого хошь голосовали-то? — вдруг кричит она бабкам.

— Да за его, лешего, сатану! — отвечает одна. — Знала ведь, что омманет, вот и омманул.

К вечеру в доме у меня гости: Ани Дибантон, писательница из Франции, с переводчицей. Ани намеревается написать книгу о сельской России, набирается впечатлений. Я хочу познакомить ее с Ниной Ивановной и уже намереваюсь ехать встречать бабулю, как она сама с Милой и Яшенькой появляется на пороге. Какие-то грибки подвезли старушонку.

— Пять сотых осталось докосить, — сообщает она довольно с порога. — Да две копы накопила. Мы усаживаем ее за стол за самовар с французскими разносолами московского происхождения. и Ани пытается взять у Нины Ивановны интервью.

— А ты из какова царства-государства? — опережает Крюкова Ани. — Стало быть, из Франции? Из Парижу? У меня тоже племянница тамо-тко где-то под Краснодаром живет. Ну а вы тоже под президентом живите? И на выбора так же ходите?

— Все то же самое, — отвечает Ани. — У нас тоже много кандидатов. и все борются друг с другом

— И все так же омманывают?

— Врут, много врут, — отвечает Ани. — Когда демократия, то так бывает всегда.

— Ну а живете вы тамо-тко как? Колхозно либо единолично?

— У нас все индивидуально, — сказала Ани.

— Значит, не совхозно, не колхозно? А всяк сам по себе?

— Сами по себе! — вздохнула Ани.

— Значит, и начальства у вас нет?

— Нет.

— Значит, нет и государства! — сделала Нина Ивановна логический вывод.

— Нет, государство есть, — возразила Ани.

— Не пойму я чего-то: начальства нет, а государство есть... — удивилась Нина Ивановна заморским причудам.

Помолчали.

— Ну а вот такая страсть, как перестройка, у вас была? — спросила Нина Ивановна прямо. Писательница засмеялась.



— Была, но очень давно.

— И так же жили бедно?

— Нет. Жили лучше. И работали меньше.

Нина Ивановна задумалась.

— Ну а скота-то сама держишь? — спросила Нина Ивановна заинтересованно французскую писательницу. — Может, не сама, так мама твоя?

У Ани от удивления полезли на лоб глаза.

— Нет, я скота не держу. И мама не держит. Мы все покупаем в супермаркете, — почему-то едва прошептала она.

— Тогда, может, сена ставите на продажу? Чем хоть живете-то? — в свою очередь удивилась Нина Ивановна.

Сена Ани не ставила тоже. И Нина Ивановна скоро потеряла интерес к зарубежной гостье. И на вопросы ее отвечала вяло. Да и усталость сморила ее.

Мы вышли провожать ее на крыльцо. Августовская бархатная ночь укутала мир. И только звезды щедро сняли драгоценными камнями над лесным поселком с пугающим названием Тринадцатый квартал, над речкой Леденьгой, полями и лугами, в которых едва виднелся белый платок русской крестьянки Крюковой. Наверное, так же щедро сняли сейчас эти звезды и над французской столицей Парижем, где не держат по дворам скотины и не ставят летами сенокосов.

Зимовье на Ягрыше

Деревенька Дресвище оживает лишь с первой травой. Приезжают сюда художники, писатели, поэты отдохнуть, порыбачить, запастись к зиме ягодами да грибами. Из коренных жителей одна-единственная старушка – бабка Ульяна. В Дресвище родилась, ходила по нянькам, батрачила, замуж вышла. За вдовца.

Четверо детей приемных да пятеро своих. Теперь они давно уже сами внуков имеют, живут по новым местам, родину свою позабыли.

Да и что в родине-то? Ни свету, ни радио. Одна вот только бабка и зацепилась за родной порог. Ни у тех, ни у других жить не желает. Дома-то каждый сучок свой, у каждого гвоздя своя история. А пуще всего боится бабка Ульяна в зависимость попасть, самостоятельности лишиться, лишней себя почувствовать.

– Хоть и черен свой кусок, да не обжуреной.

Летом здесь благодать. В магазин ли сходить тропками-прямушками – в радость. лес – под боком, соседи понаедут – повадно. Да и на огороде урожай завязывается – душе отрада.

С лета начинает бабка Ульяна к зиме готовиться. Сушняк из леса таскает, пилой шаркает, хлеб сушит, грибы солит, бруснику топит – зима все приберет.

С первыми холодными дождями пустеет Дресвище, и только бабка Ульяна все еще хлопочет по хозяйству. Переметут снегами метели дороги и тропки, навалит к крыльцу сугробов – бабка, словно медведь в берлогу, залегает. У нее даже колодец в крыльце.

Истопит русскую печь в зимовке – первые дня два на кровати, как барыня, спит, потом на печь перебирается – там теплее, а потом и вовсе в печь переселится. Пройдет неделя – снова праздник – печь топит.

Так до Масляной перезимует, а там уже солнышко припекать начнет, пора к весне готовиться, картошку перебирать, яровизировать, рассаду высаживать.

Первая огород свой вскопает, соседям поможет, пока они еще в городских квартирах нежатся. Хозяйка. Набольшая.

...Как-то глухой осенью завернули мы с товарищами в Дресвище. Печь топили, уху хлебали, ночевали. Бабка Ульяна проведать нас заглянула, стопочку вина выпила, старинных песен попела.



Товарищи мои расчувствовались.

— Вот благодать-то какая! Спокой дорогой. Остаться бы тут навсегда, огород копать, рыбу ловить, корову бы завести на коллектив!

Слушала, слушала эти речи бабка Ульяна и загорелась вся.

— А что, — говорит, — ребята. Надо бы корову-го, ой, как надо. Глите-ко, по второй год лучкаря в нашей деревне стога ставят, все покосы наши пробрили. Слыхано ли дело, чтобы Лучкино в Дресвицах сенокосило.

А корову заведем, так зиму я за ней догляжу, места у меня на дворе — приволье, да и мне поваднее будет.

Больше товарищи мои о деревенской перспективе речей не заводили.

С царем за самоваром

Под самой Чебсарой, бывавшей когда-то районным центром, а ныне стареющим на глазах рабочим поселком, есть маленькая деревенька Карамитка с двумя десятками домов, в одном из которых живет Анна Ивановна Сабурова, в девичестве Козлова.

В этих краях много народу, осевшего здесь не по своей воле, – переселенцев да раскулаченных. А вот Анна Ивановна – коренной житель. Родилась, выросла и почти всю жизнь в Карамитке и прожила.

И был в Карамитке большой праздник. Справляли Анне Ивановне девяностолетний юбилей. Народу съехалось видимо-невидимо из больших и малых столиц: Москвы, Питера, Вологды, Череповца... Потому как Анна Ивановна человек почитаемый.

Днями позже и я завернул к Анне Ивановне на пироги, на которые она великая мастерица. Завернул и записал историю ее жизни, которая, право слово, стоит того.

Народ в наших краях справно жил. У нас семья – десятеро. Коровы, лошади на дворе. Всего хватало, только трудись. А в Чебсаре купцы гремели: Пулькины, Сытины, Кузнецовы. Товару всякого – завались. И сами хорошие были люди. Почто их мироедами окрестили?

Как-то с тятьей едем Чебсарой, стоят новые тарантасы, что игрушки, лаком блещут. Тятя залюбовался. Тут Пулькин подходит: «Что, Иван Модестович, люб тарантас-то?»

– Ой и люб! Да вот кошелек тонковат.

– Ничего. Привязывай-ко его к телеге да вези домой. Рассчитаешься и не за раз. Я погожу.

На доверии все было построено, на уважении.

У купцов Кузнецовых сын был Миша. Одолела парня золотуха, не отступает. Уж как каким докторам не водили. А тятя мой, Иван Модестович, особым секретом владел. Привели к нему Мишу, он только его золотым кольцом обвел, на следующий день вся золотуха и пропала.

Кузнецов к нам с расчетом спешит, кошельком трясет, а тятя руками машет:

— Не надо ничего, Богом дар этот дан, Бога и благодарите.

Так потом в буфете на станции мужики выпивали, Кузнецов выходит, выносит на закуску такие три рыбины невиданные, что жир с них прямо течет, да еще навешивает на шею тятину нитку сдобных калачей, аж до земли.

— Ты, — говорит, — с меня денег не брал, и я с тебя не возьму. А вези мой подарок до-мой.

Шаль еще выносят, завернули калачи в шаль да — в тарантас. Долго калачи те ели. А вкус их по сей день помнится. Таких хлебов давно уж нет...

Мой родной дядя Николай Беляев, по материнской линии, попал служить в столицу и стал первым околоточным у царя. Вон честь какая для простого-то мужика! Так мой тятя с тестем своим, моим дедом Андреяном, к нему в гости ездили. Тятя и рассказывает:

— С самим царем за одним столом чай пил! До чего царь-то наш, батюшка, прост. Что мужик настоящий.

Сказывал, что царь без дяди Коли никуда и дядя Коля без царя ни ногой. Дружно так жили. И дети ихние, дяди Колины и царские, меж собой дружбу водили. Так-то вот. Это уж потом, много позже, поехала я в Москву к двоюродному братцу Льву Николаевичу Беляеву: нагляделась у него фотографий с царской семьи и будто душой к ним прикипела...

А когда после революции дядю Колю выслали в Рязань, дети его, четверо их было, тут у нас в Карамитке жили несколько лет, пока послабление им не вышло. А дядя Коля-то, первый околоточный царский, в Рязани затосковал, заболел и помирать его уж в Москву привезли. Там в Москве и похоронен. Теперь детки его уже все примерли. Осталась только дочка Льва Николаевича — Надюшка. В Москве живет. И у нее все семейные архивы целы. Ежели интересно, дак адресок дам.

При Ленине-то так не расстреливали, как при Сталине. Нашу семью без куса хлеба оставили. Отобрали пять коров, лошадей. Они идут с пастбища и к дому приворачивают. Дедушко стоит у изгороди и плачет: «Идите, милые, идите, я вам боле не хозяин!»

Оставили нас без хлеба. А на отца еще твердое задание наложили: сдать десять пудов ржи. А не сдаст — семью на выселение. Хорошо я тем годом замуж в Углу вышла, так свекор выручил, дал тятю эти десять пудов.

Тятя потом к Калинину в Москву ездил с жалобой. Калинин принял и говорит:

— Дураки там у вас сидят!

А нам с этими дураками жить... И как жить, когда они нам корешки подрезали.

Так вот и жили. Я в совхозе десяти директоров пережила. Теперь и по фамилиям не вспомнить. Ошурков, Птичкин, Зелинский... Который-то за хорошую работу платьем наградил. А бригадир платье-то присвоил. Мне говорят: «Жалобу директору пиши!» А я думаю: у меня платье есть, может, у бригадировой жены нету, пусть носит.

На войну всех мужиков позабিরали. У нас был такой Тимоша Зелинский, па лошадях работал. Его стали забирать, он и говорит: «Никому Зону да Смирную не отдам. Только Нюше. Она только справится».

Взяла лошадок, начала с первого года сеять и жать. Сеялка была такая сошниковая. Вот на ней за весну посеяла и рожь, и овес, и ячмень... 10 гектаров гороху. Подошла жатва. Гриша Мороз дал мне жатку, отремонтировал хорошо. Я шесть годов на ней жала, и у Гриши она не бывала в починке. Косилку дал конную. Легкая косилочка. Сама косит, лошади у меня вприпляску ходили.

В первый год я сжала 137 гектаров зерновых. Сели как-то обедать. Алексей был уже большенький.

— Мамка, — говорит, — передавали по радиу, что в Браткове тракторист сжал 120 гектаров. А ты сто тридцать семь гектаров сжала на лошадях, а тебя никто не передал...

Говорят, что Бога нет. Да разве бы мы такую войну без его помощи осилили!

Разбомбили Тихвин. Нужен был срочно лес на восстановление. А сразу за Чибсарой стоял сосняк, лет триста ему. Нас пятерых девчушек послали этот лес вывозить и грузить на пакгауз. Дак не поверишь, этикие-то лесины у нас в руках летали, как палки! Идет мужик с Молодок: «Глупые вы, хоть покаты сделайте! Легче будет», — «А, — думаем, — нам и так не тяжело».

Ночью бегут: собирайтесь, на фронт надо ячмень, картошку грузить. Самн не ложились еще, да ребятишек поднимаем. Вот и подумай: как могли мы в себе столько сил найти? Богородица нам помогала. Чудотворная икона Тихвинская.

Войну одолели, разруху, вроде полегче стало. Поехала в Москву навестить братца своего двоюродного Льва Николаевича. Помянули умерших, погибших, безвинно убиенных. Глядим на царские портреты, я и говорю брату: «Не верю, что у ннх такой страшный конец. Кажется мне, что живы они». Как-то тятя мой ехал внучку крестить, одна старушка сказала: «Никуды царская семья не девана, она была в надежных руках».

Лев Николаевич тогда посомневался.

А я вот теперь перед Богом могу сказать: царская семья была сохранена.

Сразу после Москвы попала я в Ленинград в больницу. Поместили меня в четырехместную палату. Вижу, рядом со мной на койке женщина лежит, газету читает и все приговаривает: «Вот Хрущев дает! Вот дает!» Газетку-то отклонила, я так и обмерла: да ведь это Ольга Николаевна! Царевна! Я виду не подаю, присматриваюсь.



На второй или третий день входит в палату уже Татьяна Николаевна Романова. Ее сестра. Она с детства некрасивой была, нос курносый, глуховата.

Ольга Николаевна к ней:

— Дома-то что?

— У Алеши сын родился. Понесем крестить. Только вот ленточку черную взяли.

Ольга Николаевна и говорит:

— Нельзя черненькую, возьмите любой какой кушачок...

Как-то никого в палате не осталось я и завожу разговор:

— Ольга Николаевна, я в Москве была недавно у Беляевых...

А она и спрашивает:

— А как там Мало-Алексеевская и Нижняя?

Я говорю:

— Ничего прежнего не осталось, там такие дома поставлены, что все в один ряд.

Потом снова подвожу:

— Николай-то Николаевич Беляев помер. В Москве и похоронен.

Она ничего не отвечает, только головушку склонила.

Я насмелилась:

— Ольга Николаевна! Это вы?

Она опять промолчала. Только какое-то время спустя говорит:

— А что стало с Татьяной Николаевной Беляевой?

А они с дяди Кожиной Танюшкой дружили крепко. И на фотографиях все вместе.

Обрадовалась я:

— В Одессе она. Детей только вот Бог не дал.

— Вот и я, — говорит, — осталась бездетной. Муж военный, в Сибири жили. Все в разъездах... Война. Потом овдовела.

Жила Ольга Николаевна в маленькой комнатухе, куда только кровать да шкаф умещались.

— Я, — говорит, — счастлива, что прожила так скромно и незаметно...

Скоро меня выписали, и судьбы этой женщины я дальше не знаю. Верю только, что царская семья Романовых не была растерзана...

Анна Ивановна рассказала эту историю и словно оцепенела. Из глаз ее, уже давно заплаканных по убиенным деткам ее, по рано ушедшему мужу, покатились горячая слеза. Удивительный народ русский. Душа его не мирится с кровавой историей, в том числе и с трагедией царской семьи. Не мирится и создает в легендах иную историю: добрую, со счастливым концом.

..Долго молчала Анна Ивановна, а потом запела песню про черного ворона, такую известную, но с незнакомыми мне словами.

Под зеленою ракитой
Русский раненый лежал.
Он к груди, штыком пронзенной,
Крест свой медный прижимал.

Кровь лилась из свежей раны
На истоптанный песок,
Над ним черный ворон вился,
Чую лакомый кусок.

Ты не вейся, черный ворон,
над мою головой.
Ты добычи не дождешься,
Я солдат еще живой.

Анна Ивановна допела песню, встрепенулась, стала угощать нас пирогами, приговаривая:

— Топерь легко всем. Делать стало нечего. Пьют да гуляют. Чем только эта льгота для России кончится?.. Вот о чем сердце ежедень болит...



Здравствуй, Наталья Петровна!

— Живу в городе на девятом этаже, ровно птичка какая. Всю зиму ногой земли не трону. Ну а уж как пригрест — на цепи не удержать. Ребятам своим: везите домой и не грешите.

Дома-то мне каждая слочка, каждая березка поклонится: «Здравствуй, Наталья Петровна!»



дозволила. Те покричали, поругались да и ушли. И дале, что ни день, начались в дому чудеса: то из кухни сама по себе скалка летит и – хлоп бабу по лбу, то ухваты от печи плясать пойдут, то на чердаке затопает и застонет.

Баба на такую напасть участкового зовет. Тот хоть и не верит, а идет. Идет и за наган держится.

– Деда? А наган настоящий?

– С пулями настоящими. Все чин чином.

Приходят. Тихо в дому, все на месте. Баба-то говорит: «Надо караулить, засаду на ночь оставить».

Милиционер вроде бы и не против. Хм... Зачал сапоги сымать перед ночлегом. Только один сапог стащил, за второй принялся, как первый сапог подпрыгнул чуть не до потолка и давай по избе кружить. Участковый еле словил его, натянул на ногу да бежать.

А бабе-то бежать некуда. Долгонько ищо жила. А уж потом какая-то невидимая рука стала ее за волосье трепать. Куда годится? Бросила дом. Так в том дому боле никому и не пожилось.

– А что с домом-то стало, деда? До сих пор стоит?

– Я года два тому ездил в те края. Сказывают, что когда раскатали дом, то нашли в подполе экий комок шерсти собачьей да козлиной... Должно быть, цыгане подкинули.

...Дед Миша Глухов большой специалист валенки подшивать. Так укропает, что потом специально отрывай, не оторвешь. Он сам те валенки и катал. На всю большую глуховскую семью: семеро своих детей, девятнадцать внуков и девять теперь уже правнуков.

А еще он сапожник, каких во всей округе не сыщешь. До сих пор хром да подметки под лавкой лежат, очереди ждут.

– Вот вам, робята, ищо история. В Поплевине мы тогда жили. Аккурат в августе сорок шестого. Я у окошка сидел, опять жо сапоги кропал. Прямо за околицей поле. Ячмень такой густущий нарос. И тот ячмень старушка серпом жала. Идет мимо старик с корзиной, чего-то бабке той поговорил, лег на межу и не шевелится. Я думаю: «Хоть жив ли?»

Поспешаю к нему, наклонился. А вижу в корзинке на дне хлебные христараднички лежат: по деревням насобирал, должно быть. Старик на меня глаза вызнал: «Возьми кусочек хлибца, не гнушайся...»

Подивился я. А потом старуха-то и сказывает, мол, старик ячмень похвалил и говорит: «Торопитесь жать, торопитесь, а то не успеете. В землю уйдет...»

А двадцать пятого августа, как сейчас помню, такая непогода разразилась, такая буря. Крыши домов поносило, деревьев навалило страсть, а ячмень на поле градом.

словно молотилкой, посекло... Ничем не попользовались. Не успели сжать. И был в тот год голод страшный. Многие умерли. Ели все, что в рот лезло. На липах дак все листья были ободраны. Сушили, толкли да лепешки пекли. Из клевера, из лебеды, из коры древесной пытались хлеба печь...

Нас так только вот мое ремесло и спасло. Когда ребята голод настает, тут никакое богатство, никакое золото тебя не спасет. Быстро проестся. А вот ремесло не проест, оно тебя самого прокормит.

А в бурю ту нашей избушке ничего не сделалось. Помню Нина тогда только родилась. Стоит Катерина перед иконой Николая Чудотворца с робенком, молится. Так у нас даже солому на крыше, соломой изба-то крыта была, не растрепало. Так-то вот. А уж потом сюда, в Космово, перебрались. Вот эту домину ремонтировали. На втором этаже печь разбирали и сюда вот на первый кирпичи сбрасывали. А икона-то Николая прямо под дырой к стенке прислонена стояла. Не доглядели. Так вот чудо из чудес. Всю печку перекидали, спустились. Лежит икона, на ней груда кирпичей, а даже стекло не треснуло.

...Таращат внуки глаза. Вот она икона та перед ними, в красном углу. Цела и невредима. Дед говорит — хранительница дома.

— По деревням нашим, робята, в прежние времена ходил божий человек. Блаженный. Вечно босой, оборванный, с сумой холщовой на плече. Носил он на себе вериги: кованые цепи крест-накрест с железами.

Такой вот труд своему телу задавал, чтобы душа не заленилась.

Блаженный тот все наперед знал. В одном доме как-то остановился. Баба говорит, мол, сходи в баньку ополоснись. Тот вериги снял, пошел в баньку-то. А баба той порой схватила безмен и подвесила вериги. Сколько, мол, весу-то он на себе таскает? Верно ли так тяжелы?

Спустя время приходит блаженный в дом и говорит горько: «Почто же это ты душу-то мою взвесила?..»

— Дед, а дед, а давай мы твой костыль на безмене взвесим? — пристают внучата.

— Костыль можно, — соглашается дед. — Я не святой какой.

Костыль у Михаила Михайловича Глухова не простой. Простые костыли не выдерживают нагрузку, какими он себя нагружает вот уже пятьдесят с лишним лет. Костыль да верная жена Катерина опорой были. Жена вот уже шесть лет как померла, а костыль... Чего ему делается? Он из тракторного железа кован, сваркой электрической варен, болтами стальными стянут. Семи фунтов весу...



Шинель

— В Финскую это было. Я в разведке служил. Шинелишка у меня износилась, прожжена, осколками побита. Старшина и говорит: «Невзоров! В разведку пойдешь, получи новую шинель. А то, не дай Бог, в такой шинели в плен попадешь, так перед неприятелем стыдоба...»

Жил-был поэт в России

В ту пору я только начинал работать в областной газете «Вологодский комсомолец». Опыта было мало – одна молодость. Сидел в кабинете, собирался в командировку, как дверь распахнулась, и на пороге явилась квадратная фигура поэта Игоря Васильевича Тихонова. Он был в кирзовых сапогах, коричневых штанах с начесом, потертом бушлате и выдавшем виды треухе. Он был похож более на беглого каторжника, чем на человека, который кормится литературным трудом.

Он пробурлил меня насмешливым взглядом.

– Едешь куда?

– В Череповецкий район. В Мяксу.

– О! – загорелся радостно он. – И я туда же. Из кармана бушлата он вытащил пачку писательских путевок для выступлений в трудовых коллективах.

– Едем вместе! Почитаем стихи, познакомимся с людьми. Это же почти наша родина!

Оба мы с ним были пошехонцами, и Игорь считал своим долгом опекать своего молодого земляка.

– А еще у меня там свояк живет – первый или второй муж моей тетки. Тетка померла, дак он на другой женат. Вот только я его фамилию забыл. То ли Дронов, то ли Додонов...

Я согласился ехать с Игорем в паре, не подозревая еще, какие приключения ждут меня на этом пути.

Игоря Васильевича Тихонова я в ту пору знал еще недостаточно хорошо. Было ему около пятидесяти. В пятидесятых выпустил три книжки стихов и считался самым перспективным из молодых. Причем две книжки – «Северянка» и «Зеленая глубина» – вышли в московских издательствах. Потом были еще книги. В Сибири, на Волге.

А потом понесло Игоря по просторам родного Отечества – от западных до восточных границ. Талант во все времена кормил не сыто. Игорь зарабатывал себе на жизнь шабашками. Красил крыши и фасады, плотничал. В перерывах между шабашками продавал редакциям свои стихи.

В Сибири переводил на русский с подстрочников поэтов малых народностей.





















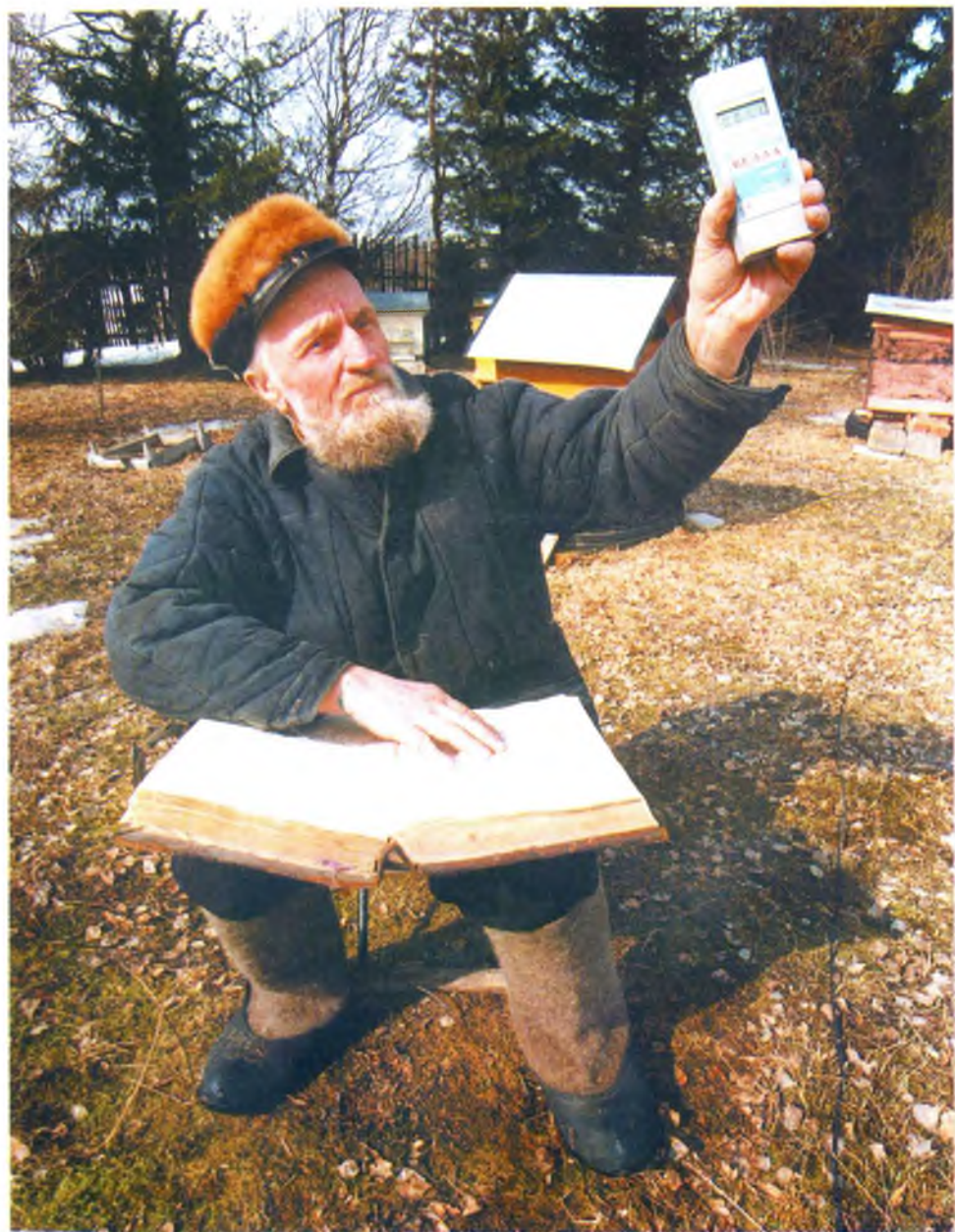












— О, скольких я сделал классиками! — размахивал он кулачищами. — Беру подстрочник: «Улус, мой улус. Олешки пасутся, солнышко светит...»

Пишу:

«И солнышко проходит над улусом,
Как рыжий конь в коротком поводу!»

Потом снова шабашил, гулял, спускал заработанное. Мне говорил, что у него было семь жен, а может, и восемь, — наверное, погибал для куража, но стихи про любовь у него были страстные:

Заглянула прямо в очи,
Вся из песен и огня...
А потом четыре ночи
Лихорадило меня...

Но трех его жен, по крайней мере, я видел.

И вот этот Игорь, известный поэт и землепроходец, шабашник и донжуан, появился в моем кабинете.

— Едем на вокзал за билетами! — сказал я.

— Что? — театрально возмущился поэт. — Какой дурак ездит в командировки за деньги. Пойдем, я тебя научу ездить бесплатно.

Мы отправились в магазин.

— Вот, видишь, уже сэкономил, — говорил он, покупая треску горячего копчения и водку.

Затем поехали к его матери, жившей с сыном Тихонова — Васей — в деревянном домишке Октябрьского поселка. Да еще в доме была одна из жен Тихонова, приехавшая из Сибири. Или их было там две — не помню.

Мы пили на кухне водку, и, по мере того как она убывала, в Игоре прибывало пошехонской агрессивности. У него чесались кулаки.

Он рассказал мне, что однажды на шабашке поругался с мужиком, который его был чуть не вдвое выше. Мужик повалил Игоря на спину, а Игорь в запале откусил ему ухо. Ухо потом пришили суровыми нитками. Прижилось.

После этого он стал вызывать меня померяться силами:

— Я тебя не сильно помну, по-землячески.

Я обиделся и этот вызов принял. Васька пошел за секунданта.

Сражались мы на дороге у дома. Был март. К вечеру на дороге намерзали ледяные шишаки, и было скользко. Игорь напирал, как танк. И мне бы пришлось туго, если бы я не занимался раньше вольной борьбой. Я поймал его на прием и бросил. Игорь пошел лбом буравить дорогу. Казалось, что сумерки засветились от искр, вышибленных из дороги чугуном лбом поэта. Но он вскочил, как резиновый, и снова пошел

в атаку. И снова я его бросил, и снова он был на ногах, приходя все в большую ярость.

— Так не считается! — хрипел он. — Надо положить на лопатки и удерживать.

Я свалил его и стал дожимать лопатки. Но тут он вцепился зубами в мою руку бульдожьей хваткой.

Сошлись на ничьей.

А наутро как ни в чем не бывало он расхаживал по комнате, хотя весь лоб и лицо его были в ссадинах.

Оделись, пошли на заправку.

— Сейчас я договарюсь с шоферней, — сказал Игорь, — и через полтора часа мы будем в Череповце.

Но шофера шарахались от него. Мне пришлось прятать его за бензоколонку и самому договариваться с попуткой.

— Ты не пугайся, тут у меня еще дружок. Он поскользнулся недавно. А так — человек веселый.

Действительно, Игорь заливал байки всю дорогу, и шофер едва удерживал руль.

Вся его жизнь — какая-то невероятная страшная байка.

Одно время он работал в шекснинской редакции. Переходил реку Углу и провалился под лед. Лед уже распадался. Все, кто видели это, решили: конец мужику, нужно вызывать водолазов.

Но каково же было потрясение, когда через несколько минут у берега вышел в промоину «утопленник». Провалившись, он подо льдом по дну шел пешком к берегу. И вышел.

Однажды он красил крышу трехэтажного дома и сорвался вниз. Пока летел, сообразил, что лучше упасть на руки и на руках спружинить.

Но удар об асфальт был силен. Игоря с разбитой головой и грудью, покалеченными руками увезли в клинику. Думали, не жилец, а он уже на второй день балагурил с сестрами, объявил себя идейным и требовал, чтобы над его кроватью непременно был повешен портрет Генерального секретаря Брежнева.

Вскоре к кровати стали водить интернов, демонстрируя его, как экспонат невероятной живучести. Делегации приходили каждый день, с Игоря снимали одеяло и оглядывали, ощупывали, простукивали его квадратное могучее тело, убинтованное, словно кокон шелкопряда. Игорю это не особенно нравилось, и он потребовал плату за демонстрацию собственных достоинств — после каждого показа стакан спирта. Спирту не дали, портрета вождя не нашли, и не прошло и недели, как Игорь сбежал из лечебницы.

В книжном издательстве в шкафу лежал его походный чемодан. Когда на душе у него начинали крестить кошки или возникали семейные ссоры, он приходил к Ивану Королеву, директору издательства, извлекал свой чемодан со сменой белья и ру-

копсиями и отправлялся туда, куда глаза глядят... На этот раз дверь в издательстве отворилась пинком сапога: руки не действовали, — и на пороге появился Игорь Тихонов за чемоданом.

— Еду в Карелию. На свежем воздухе быстрее заживет.

— Куда ты без денег, без билета?

Игорь саркастически усмехнулся:

— С деньгами-то и дурак уедет.

...В Мяксу мы попали под вечер. В конторе я познакомился с главным агрономом, секретарем парткома, побеседовал с ними. Игорь тоже не отставал, ходил по кабинетам и в каком-то из них организовал выпивку с закуской.

Спустя недолгое время, меня отыскал парторг:

— Там этот мужик в бушлате говорит, что он поэт и что с вами приехал, и требует ночлег. Мы думали, что он с зоны «откинулся» да на работу приехал устраиваться.

Я подтвердил поэтическую сущность Игоря, но все же колхозники его к себе в дома не пустили. Игорь ночевал один в малотопленной комнате для приезжих.

Но наутро он стал среди мяксинского населения своим в доску.

Он читал стихи на мехдворе трактористам, читал артистично, емко. И стихи были мужицкими, остросолеными. А то вдруг открывалась в этом битом и тертом жизнью, но не сломленном, упрямом человеке такая чуткая лирика небесной голубизны, что диву даться — эва, какая душа-то трепетная у русского Ивана!

Живой порыв души и тела.
Сама возвышенность мечты —
Все потому лишь уцелело,
Что есть на белом свете ты.

И надо мною, где б я ни был,
Лучами ясными слепя.
Взошло бы разве солнце в небо,
Когда бы не было тебя...

Дня три Игорь триумфально ездил по мехдворам и фермам, читая колхозникам стихи. И все пытался отыскать своего родственника, вернее, бывшего свояка Дронова или Додонова. Или кого-то с более-менее похожей фамилией...

Я вернулся в Вологду один. И вдруг через неделю является на пороге Игорь в обычном своем наряде и радостно сообщает:

— Нашел!

— Кого?

— Сваяка. Первого мужа моей покойной тетки.

— Ну, и как ему фамилия оказалась?

— Не поверишь, Смирнов!

...В последние годы он оставил свои странствия. В крохотной деревушке за Норовым, поближе к родине, купил дом, пас совхозных нетелей, огородничал, выращивал кролей, овец. И радовался такой чудесной перемене в себе, и тосковал по уходящей России:

Кричат сычи над мертвой баней,
В избе напротив свет погас.
Похоже, впрямь вот-вот настанет,
Россия, твой последний час...

На трагическую смерть поэта Сергея Чухина написал несколько строк, никому не известных, а для печати не пригодных:

Пусть существу всего хватало —
Душа существовать устала.
Устала, мать ее...
Он пал в пути, как лошадь пала,
Которой некуда идти.

...В последнее лето Игорь Тихонов заготавливал для бань веники. Взял в работники бывшего «зека». Осенью Игоря не стало. У него, видимо, вышел спор с этим человеком, и тот, рассказывают, ударил Тихонова поленом так, что снес ему чуть не полголовы. Но Игорь устоял. Замотал голову тряпкой, приехал домой. И еще жил несколько дней. Последние слова его были: «Все! Кровоизлияние». И он упал. И больше не поднялся.

Грустно видеть, как теряет Россия не просто людей, а целые типы и сословия, как кондовые венцы кондовой русской избы. Игорь был из тех русских, про которых говорил враг: «Русского мало убить, его еще нужно повалить».

Зачем в поруганной Отчизне
С январским холодом в крови —
Неистребима воля к жизни,
Бесстрашно жадна плоть любви.

И я с отчаянья иль сдуру
Зажгу сегодня в окнах свет,
И пусть на это смотрит хмуρο
Мой безразличный сельсовет...



Дома

Про дедка Петра Снопикова рассказывают, что всю жизнь отходом жил. Рубил дома по деревням, овины, старую Маринку перестраивал. Когда силы на убыль пошли, домой не вернулся, оженился второй раз на стороне, в примаки пошел. А уж когда совсем невмочь стало, домой запросился.

Старшая дочь Поля привезла его на лошади в розвальнях чуть живого. Разболкли, на печь уложили.

— Ну вот, теперь я и дома, — поглядывает из-за борова хозяйским глазом, как бабы капусту рубят.

— Полька, тут у тебя чо шти али капуста? Ты штей поболе делай. Я шти-то люблю.

Через пять минут:

— Угол-то у байни всяко Васютка рубил? Вот я ему по загровку-то и нахожу!

А только что умирал.

Хождение встречь солнцу

Тихим солнечным днем уходящего бабьего лета в Тотьму прибыл под парусами Петр I. В городе сладко пахло дымком сжигаемой картофельной ботвы, по кухням стучали сечки – женщины солили капусту к зиме, на деревянных мостках в тени блеснул не растаявший к полудню иней, улицы были щедро усыпаны золотом облетающей листвы, а над каменным спуском к Сухоне висел огромный плакат: «300 лет Российскому флоту».

У Петра был накладной парик и жесткие, наверное, сделанные из конского хвоста усы. Приплыл он на сплавном катере, борта которого были околочены под старину крашеной фанерой, а к мачте привязана жердь, на которой трепыхались сооруженные из простыней паруса. Петр I обратился к вышедшим встречать его горожанам с речью, порой забывая слова из сценария, но горожане были не привередливы и встречали его как государя истинного. Тем более что бочка с вином, выкаченная по велению «батюшки царя-амператора» народу, оказалась большой и настоящей и вино в ней натуральное – тотемское клюквенное, которое и «веселит не пьяно, с которого голова не болит рьяно».

Вслед за Петром прибыл в город, уже по суше, претендент на должность губернатора области Вячеслав Позгалев. И тоже обратился к горожанам с речью. Но предвыборной. Кандидат говорил без запинки, слов не забывал, и у аплодировавших ему тотьмичей появилась надежда, что став губернатором этот кандидат сказанных слов не забудет и от обещаний не откажется.

Но поводом к прибытию столь высоких гостей была не столько выборная политика, сколько событие, какое в нынешней жизни случается не столь часто. В Тотьме открывался новый музей – Музей мореходов – давняя и страстная мечта Станислава Зайцева, человека, более которого этот город, наверное, никто не любил.

...Дождливой осенью 1978 года завели меня дороги в убогонький городишко с названием, от которого веяло захолустной тоской: Тотьма. То-тьма. Косые деревянные заборы, темные от непогоды бревенчатые дома, густо замешанная на улицах грязь, мутные воды Сухоны-реки под обрывом, порушенные обезображенные церкви.

Я познакомился тогда с местным краеведом Станиславом Зайцевым, облик которого — рыжая шевелюра, рябое лицо, задиристый взгляд — напоминал лихого портового парня. Мы сидели с ним на крыльчке его дома, с прохуdivшейся крышей и подгнившими венцами, на коридоре в корыте стирала его жена Галина, хрипло каркала на соседнем дереве простуженная ворона, а Станислав рассказывал удивительные вещи, поверить в которые казалось невозможно.

— А ты знаешь, что этот захолустный городок был в свое время метрополией Русской Америки? Ты можешь себе представить, что здесь было снаряжено 20 экспедиций в Америку — пятая часть всех известных? Сравни: Великий Устюг с его всемирно известными землепроходцами Семеном Дежневым и Ерофеем Хабаровым снарядил шесть, Вологда — три, Москва — семь, а мы — двадцать! А один из галиотов, ходивших в Америку, так и назывался — «Тотьма». Каковы были люди! Какое бесстрашие — через пять морей, через льды под самым козырьком Северного полюса идти за десятки тысяч верст в неизведанную Аляску и Америку, добывать славу Отечеству и себе!

...На следующий день тучи исчезли и солнце, отдавая последнее тепло, нерастраченное за лето, преобразило город, открывшийся столь неожиданной стороной. Станислав потащил меня по его древним улицам, где одна тайна сменялась другой.

В центре города возвышалась Входоерусалимская церковь, в которой тогда укуповривали «опиум для народа» — мутный портвейн и вермут.

— Смотри внимательно, — показывал Станислав. — Что ты видишь в этих куполах и шпилях?

Бог мой! Да это же был корабль-парусник, летящий в голубом поднебесье. Я повернулся и увидел среди невысоких строений города еще одну церковь-парусник, вторую, третью, четвертую...

Станислав показал еще одну особенность тотемских церквей: простенки их украшали каменные кружева — картуши, каких больше не встретишь нигде.

— Все это и есть тотемский стиль морских открытий, — сказал уверенно и гордо Станислав. — Однажды мне попала в руки летопись Троицкой церкви, где было сказано, что она построена «от избытков капитала» тотемского купца-морехода Степана Черепанова. Тут же был и договор с крестьянином Федором Ивановым. Черепанов заказывал Федору «между верхними и нижними окнами клейма сделать — как наилучше возможно». А потом попался мне еще один документ — «Сказка тотемского купца Степана Черепанова об его пребывании на Алеутских островах», датированный 1762 годом. Тотемские купцы и мореходы после благополучного завершения плавания и «от избытков капиталов», которые приносили им экспедиции, украшали город церквями, похожими на парусники, и клеймили их клеймами, какими обычно украшались мореходные карты. Это был символ счастливых плаваний...

Мы стояли на берегу величественной Сухоны, которая торопливо несла свои воды

в Северную Двину, а оттуда к Белому морю, — и перед моим взором мысленно вставали неизведанные суровые моря и земли, куда так стремились наши мужики, открывая новые пространства, острова и земли, богатые пушниной и золотом. Не случайно же в 1780 году на гербе Тотьмы на золотом фоне появилась фигурка черно-бурой лисы.

Сегодня в Тотьме кроме краеведческого музея есть музей церковной старины, музей Ивана Кускова, основателя форта Росс в Северной Калифорнии, и музей мореходов — воплощение мечты Станислава Зайцева, к великому сожалению, до этого дня не дожившего.

В 1991 году Станислав вместе с командой деревянного коча «Помор» отправился из Мурманска к далеким берегам Аляски, стремясь повторить подвиг тотемских мореходов. В первый сезон они дошли до мыса Шмидта, где судно оставили на зимовку. На следующий год экспедиция возобновилась. Мореходы дошли до Ванкувера, и здесь поздним вечером Станислав пропал.

Было это в сентябре. Спустя год урну с его прахом доставил в Тотьму директор исторической ассоциации форта Росс Джон Миддлтон. Труп Станислава обнаружили весной 1992 года в заливе напротив здания Морского музея США. Загадочная, мистическая смерть...

Оставил Станислав ценные исторические изыскания и неоконченную книгу об открытии Америки, полную страстных постижений неведомого. Прочитав эту рукопись, я утвердился в мысли, что все-таки мы очнемся от спячки и, может быть, удивленные Америка и Европа еще скажут: «Ум российский промыслы затеял!».

На авось да небось

Бывалые люди рассказывают, что воевавшие с нами немецкие генералы возмущались очень сильно тем, что с русскими очень трудно воевать. Прямо-таки невозможно.

Доносит, скажем, германская разведка, что в таком-то месте в означенное время должен появиться советский полк номер, дробь и т. д. Немецкие стратеги и тактики стягивают к этому месту и времени артиллерию, бронетехнику, пехоту и в точно обозначенное время начинают детально гвоздить означенный квадрат. И когда, казалось бы, от противника не должно здесь остаться живого места, вдруг с тыла раздается русское «ура!» и пораженные немцы попадают в плен того самого полка, который «разгромили». Причем и та и другая сторона этим сильно озадачены. Поскольку по дороге к вышеозначенному квадрату кто-то перепутал команду, кто-то забыл уточнить координаты, полк заблудился и совершенно неожиданно оказался в тылу противника.

Может быть, это шутка, но истины в ней достаточно. В отличие от пунктуальной Европы как жили мы на авось да небось, так и живем.

Гостил у меня доктор из Австралии. Русский. Два месяца ему было, когда родители увезли из Советской России. Так что, прожив шестьдесят лет, России он не выдывал, постигал ее впервые. И решил я ему устроить путешествие на приличном таком катере с салоном и каютой. Друг мой, старый капитан, должен был его перегонять через красивейшее озеро Кубенское, через старинную систему шлюзов Северо-Двинского водного пути, Волго-Балт, и, наконец, в поселке Шексна я должен был встретить катер и машиной отвезти гостя к себе.

Австралиец Алексей Шандарь был в восторге от такого предложения: в один рейс, без всяких долларов, увидеть столько чудес – и Прилуцкий, и Спас-Каменный, и Кирилло-Белозерский монастыри, и открыть для себя природу Севера России, понять характер русского сверстника, веселого капитана Александра Шармыгина.

В восторге был и последний. Может быть, впервые в жизни приходилось ему так близко общаться с загадочным иностранцем из загадочной страны.

— Доставлю в лучшем виде! — докладывал он мне. — Не посрамлю Сухонского пароходства!

— А все ли ладно с двигателем? — поинтересовался я. — Всем необходимым укомплектовано судно?

— Обижает, — оскорбился капитан.

С легким сердцем пожелал я семь футов под килем и через день к назначенному сроку выехал в Шексну. Однако судно задерживалось. На час, два. На пять. На десять часов. Уже было темно, и я начал не на шутку волноваться. Но вот, наконец, знакомый стук мотора, сирена — и наш ковчег подваливает к причальной стенке.

Первым появился сияющий капитан Шармыгин. Но надо было видеть нашего русского австралийца! Он был ошарашен, он был потрясен и уничтожен одновременно!

— Это фантастика! — восклицал он. — Он теперь мой друг, и я могу сказать откровенно — большего в жизни разгильдяя я не видел! Но я не видел и более талантливого человека! Он вышел совершенно неготовым в путь. Все ломалось, горючего не было, продовольствия тоже. Но он умудрялся тут же, на ходу, из ничего, как Господь Бог, творить чудеса. В какой-то емкости сварил уху, из ракушек сделал ложки, но горлышко было слишком узко, чтобы из него кушать. Я думал: все, тут он не выкрутится. Ничуть. Не глядя, он поднял руки, открутил плафон светильника, сполоснул его за бортом — и получилось блюдо. А надо было видеть, как на полном ходу он умудрился завернуть болт в шкив! Этого практически быть не может!

Они расстались, эти два русских сверстника, один — из Вологды, другой — из Австралии, большими друзьями.

Позднее Шандарь говорил мне:

— Если бы русскому человеку придать английской сдержанности и немецкой пунктуальности, то он был бы недосыгаем.

— Теперь рынок, — отвечал я ему, — не все «марсы» и «сникерсы» за границей покупать. Может, как-нибудь и отгрузят партию того и другого. Взамен нашего русского «авось да небось». Как видишь, этот товар тоже бывает в цене.

На медведя

Незаметно опускалась на землю ночь. Смолкли в чаще птичьи голоса, с севера наполнили тучи, укрыли небо сплошным серым одеялом, и сразу стало тепло. Зазвенели комары над ухом — последний отголосок сгоревшего порохом лета, и сладкая дремотная истома разлилась по всему телу.

Я сидел на тонких жердочках устроенного меж берез лабаза и вслушивался в звуки отходившей ко сну деревни. Вот застучал, набирая обороты, колодезный ворот, и глухо стукнулось о воду в глубине колодца ведро, заговорили было на повышенных тонах бабы, но скоро разошлись по домам, протарахтел и смолк припозднившийся трактор, тракторист хлопнул дверкой и что-то сказал вышедшей на крыльцо жене, и та ответила согласно, но что, было не разобрать. Вот на другом конце деревни залаяла собака, и ей отозвалась другая, третья, и снова наступила тишина.

Я представил себе медведя, лежащего сейчас где-то в чаще, недалеко от лесной кромки, и слушающего голоса вечеряющей деревни. Должно быть, он хорошо знал и голоса деревенских баб, и их мужей, и хозяйских собак, и малых ребят, если они еще рождались в этой деревне, наверняка различал и настроение людей, ведал и привычки их, поскольку соседствовал с деревней не один год. А может быть, даже научился слушать и понимать последние новости, звучащие по радио? Ведь так случилось, что и его медвежья жизнь оказалась в зависимости от политической погоды в стране. Даст правительство сельскому хозяйству кредиты на посевную, значит, и на полях осенью будет чем пожить медведю. Не даст — лапу соси, последняя пашня зарастет ивняком да багулой...

Как-то летом у нас на бору в крохотной избушке поселились вздымщики — сборщики сосновой смолы, некогда ценившейся очень дорого. Нынче этот промысел едва теплится, потому как заработать сбором живицы на жизнь трудно. Надо побегать по лесу, надо попотеть.

Для связи с цивилизацией устроили вздымщики в избушке радио, антенну вывели на крышу. Уйдут по утрам на делянки, а радио вещает на весь лес. Дело было накануне президентских выборов, когда протаскивали на второй срок Ельцина. Одна политика в эфире, прогнозы да обещания райской жизни. И вот возвращаются вечером

мужики с делянок и видят, что антенна их повержена и приемник валяется на полу.

Поматюкались и снова наладили радио. И снова на весь лес заголосило оно про светлое будущее и рыночные отношения.

Приходят вечером мужики в избушку: да что такое? Опять антенна с крыши сдернута и приемник валяется.

Решили злодея поймать да проучить. Антенну поставили, а сами на нарвы забрались караулить. Радио на весь лес голосит, старается. Часа два прошло, наконец, старший вздымщик с нар скатился, схватил радио и... об пол: «Хватит врать, семя крапивное!».

Спустя какое-то время встречаются на бору грибника с корзиной.

— Вы, — говорит, — ребята, поостерегитесь. Третьего дня я у вашей избушки самого Михайла Потопыча видел. Антенну с крыши сдернул, залез лапой в окошко и шурутит тамо. Экий-то сарай, злющий. Ему вашу избушку раскатить, как комара прихлопнуть.

— Это он радио выключать приходил, — сказал со знанием дела старший вздымщик.
— Это ж надо? Медведя и того достало!

...Нелегко сидеть на лабазах: ни кашлянуть, ни пошевелиться — медведь услышит, не выйдет на овсы. Хотя выйти должен непременно. И, скорее всего, не один. Овсов-то в округе не стало. Это единственный островок пашни, отвоеванный охотниками у наступающей дикой природы. Некогда обильные хлебные поля теперь, увы, стремительно зарастают.

На эту медвежью охоту пригласили меня знаменитые на Вологодчине охотники Володя Каплин с Вадимом Наволоцким.

У одного Каплина на прикладе карабина более двадцати зарубок — по количеству одиночно добытых медведей. Первого медведя завалил он в тринадцать лет из простого дробовика. Теперь у Каплина карабин «Люсь» с оптическим прицелом, через который можно видеть цель даже при свете звезд. Но и с таким вооружением добыть зверя не просто.

Володя рассказывал о медведе-академике, обитающем в окрестностях деревни Степушино. Вот уже много лет местные охотники не могут достать его ни пулей, ни капканом, ни клепью...

Нынешним летом Академик и вовсе обнаглел: начал гонять из малинника баб, а потом и до малинника не стал допускать их. Только бабы по тропе в лес зайдут, а он тут как тут. Встанет на дыбы да реветь, бабы визжать да бежать. Осерчали мужики, заружья схватились и... под прикрытием баб — в лес. Да не тут-то было. Углядел косолапый Академик мужиков, не вышел.

А только бабы без сопровождения сунулись в лес, медведь на тропу лезет из кустов. Совсем без ягод и грибов оставайся?

Мужики на последнее средство решились: бабьи платья натянули, платки повязали — да только попусту свое мужское достоинство унижали. Ружья-то под подол не спрячешь...

Так что профессор-медвежатник Каплин мечтал добыть медведя Академика, а я мечтал написать о медвежьей охоте.

...К засадному месту мы пришли еще засветло. Меня посадили на центральный лабаз, под которым проходила медвежья тропа к полю. Володя с Вадимом разошлись по краям. Условились возвращаться к машине около полуночи по сигналу прожекторов, которыми они были вооружены. На случай стрельбы я должен был сидеть и ждать охотников. Ружья-то у меня, понятное дело, не было.

И вот я сижу на лабазах уже больше часу. Стало совсем темно, деревня затихла, затих, затаился и лес, только слышно было изредка, как с легким шорохом отрывался с ветки умерший лист и медленно падал на землю. Неодолимо захотелось спать. Ночь накануне была бессонной. Днем вчерашним ездили мы в другой медвежий угол соседнего Тотемского района — к озеру Сондугскому, малообжитому, нелюдимому, а от того таинственному и загадочному.

Рассказывают, что будто бы у озера того прямо на болоте больше века стоит нерушимо рубленный из огромных сосен огромный дом с черными незрячими глазницами окон. И что по ночам в тех окнах мерцает призрачный свет и слышны тяжкие стоны. И всяк, кто переступит порог того дома, долго на свете этом не задерживается. Местные любители приключений звали меня посетить эту болотную хоромину, да я благо разумно отказался.

Много всякой всячины про местных колдунов и знахарей, загадочные явления рассказывают бывавшие в этих местах. Да я и сам в августовскую ночь 1992 года наблюдал в деревне Борок небесное явление, напоминающую высадку инопланетян. И не один я, а десятка два отпускников, наезжающих летами в деревню, видели это чудо, как от сияющей в ночном небе станции-матки, похожей на тележное колесо, стали отделяться и пошли к земле одна за другой яркие точки, которые расценить можно было как спускаемые аппараты. Наблюдавший это явление народ был в шоке. Ждали, что вот-вот сейчас с кромки поля от леса явятся пришельцы, и одному Богу ведомо, что сотворят они с деревней и ее обитателями. Разошлись по домам под утро. Пришельцы не удостоили нас своим визитом. А следующим днем сняли мы на болоте среди чахлах сосен два закатных солнца, которые садились не за горизонт, а прямо в болото, и причем не на западной, как положено, стороне, а восточной. Снимок этот у меня до сих пор хранится.

...Дорога на Сондугу завораживает. Леса, одетые в осенний яркий наряд, торжественным парадным строем вдоль большака стоят, то распахнется вдруг простор и,

насколько видит глаз, откроются с холма поля, рассеченные перелесками и проселками, деревеньки на взгорках, могучая, подпирающая куполами сентябрьский небосклон церковь, осененная сусальным золотом растущих на ее кровле берез. Вожбал – старинное купеческое село, ныне оказалось далеко в стороне от торговых путей и торной дороги рыночных преобразований; постепенно край этот приходит в запустение, вымирают деревни, и смотрят пустыми глазницами окон на проезжающих охотников да грибников огромные, схожие с крепостями избы и дома ушедших в прошлое крестьянских поколений.

Часа через полтора пути по размытой и разбитой дороге встретили мы пожилого мужичка с почтовой сумкой на груди, правившего пешим в недалнюю деревушку на взгорке.

– Что за деревня? – спросили мы.

Мужичок окинул нас оценивающим глазом и ответил рассудительно:

– Это еще как посмотреть! Ежели вы надумаете письмо сюда направлять, то надо писать Захаровская, а по-настоящему называется она Заречьем. Вон та следующая деревня пишется у нас Марьинским, а зовется Шильниковым, еще подальше будет Степановская, по-устному Талашово, там вон на взгорке деревня по названью Кузнецово, пишется Ильюхиным, ну и крайняя к озеру по-письменному будет Никитинская, по-устному – Конец.

– Что за притча? – удивились мы.

– А вот так повелось исстари... – развел руками мужичок.

– Как хоть зовут-то вас? – поспрошал я его.

– Кичигиным. Николаем...

– Это по-письменному. А по-устному?

Мужичок хохотнул:

– Все-то вам и скажи...

В деревню Конец приехали мы уже под вечер. Дорога здесь заканчивалась, и далее начинался сплошной лес да болота на десятки километров. Вот в таких заброшенных и необитаемых местах и должна была густо селиться, по моему разумению, всевозможная дичь и осторожный зверь.

Охотники тут же отправились на разведку обследовать зарастающие кромки полей на предмет медвежьих следов, а я уже на подходе к деревне встретил своего давнего знакомого. Потряхивая густой, черной с проседью бородой, посверкивая глазами из-под кочковатых бровей, похожий на лесное диво, одетое в фуфайку, огромные валенки с калошами и спортивные брюки с яркой надписью «Еврспорт», он стоял перед мольбертом и старательно растирал краски. Перед ним на пожухлом луту торчали два кособоких, потемневших от дождей стожка, очертания которых знакомый мой трепетно переносил на холст. Человека – это лесное диво – звали Николаем Прокопьевичем Сажиним.

Николай Прокопьевич — член Союза художников России. Художник на Вологодчине известный, хотя профессионального образования и не имеет — самоучка. Несмотря на грозный облик свой, тих, мягок и застенчив.

Увидев меня, Сажин заторопился, собрал мольберт, и мы в сопровождении огромного козла, голову которого венчали острые витые рога, двинулись к дому. А из калитки, вытирая передником руки, уже спешила навстречу жена художника.

— Анфeya Ивановна, — радостно представилась она. — Или Анфимия. А кто дак и Амфибией назовет. Давайте-ка сразу к столу. Самовар готов.

Теплый, ласковый вечер опустился на Сондугу. Все живое: и куры, копошившиеся в траве, и голуби, ворковавшие на крыше, и козы во главе с рогатым предводителем своим, и перелетные птицы, устало севшие на поля, — все радовалось последнему солнцу, наполнившему щедро золотым сиянием своим окрестности и самую крохотную деревеньку Конец, в которой две трети домов стояли с порушенными крышами, зарастая пышными султанами иван-чая. И казалось, что в сиянии света и тепла ничто не предвещает тоскливой октябрьской непогоды, что скорые метели и вьюги перемертут дороги и тропинки и отрежут Сондугу от всего мира.

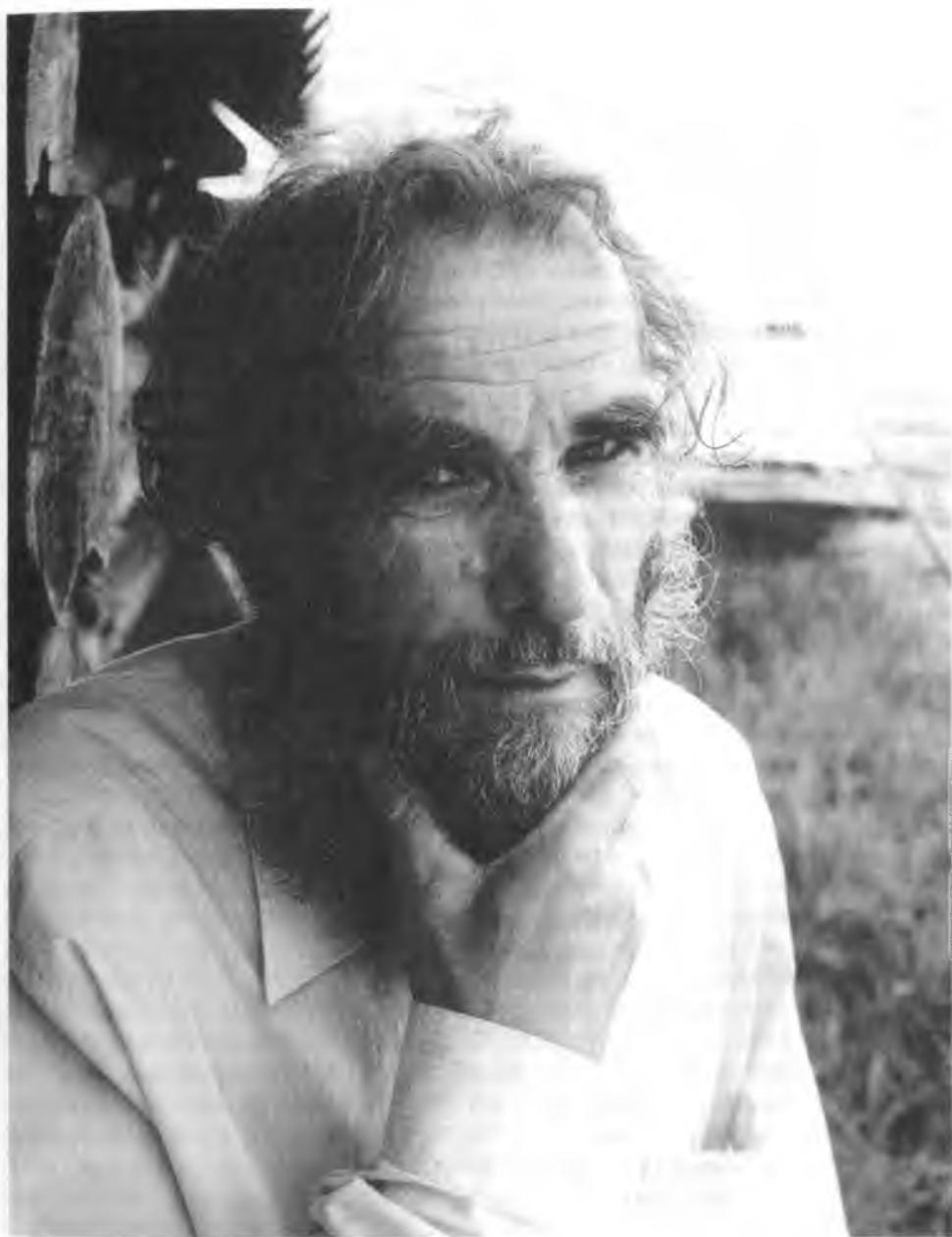
Но Сажины так и не соберутся в город, в теплую квартиру, а, словно медведи лесные, до весны замкнутся в своей избушке и будут жить легкими да осенними припасами, печи станут топить да баню, хозяйство нехитрое вести да окрестную красоту на холст переносить. Прешным делом, и сама хозяйка Анфeya Ивановна к кистям да краскам пристрастилась. Да и не только к краскам, но и к стихам.

Хорошо в доме у Сажиных. Тепло и покойно. На стенах картины. Круторогий знакомый козел, полный достоинства, снегири на ветках, словно живые, окрестности деревни и весной талой, и зимой стуженой, клюква — на холсте и в сенах, травы — под притолокой, веники, ружья — на гвоздях и стреляные тетерева — сын Прошка егерем служит, с родителями живет.

За певучим самоваром разговор о Сондуге любимой. Анфeya Ивановна на высокий стиль перешла, поэтический:

«Сельсоветом Сондугским
Как мне не гордиться?
Мне ведь здесь, товарищи,
Довелось родиться...

Хлеб у нас на Сондуге
Хорошо родился,
Озеро поблизости,
Окунь там водился...



А теперь на Сондуге
Нету населенья:
Пенсионеры старые
И нету здесь рожденья».

— Все! — Анфeya Ивановна тяжело вздохнула.

— Вон Прохор женится, и население пойдет! — поспешил я утешить хозяйку.

Она оживилась.

— А вот как мы с Колюшкой моим сошлись, рассказать?

Она обхватила руками косматую голову мужа и ласково поцеловала в бороду.

— Тридцать девять лет уж вместе живем, я его все люблю. Он у меня хороший, добрый.

Я библиотекарем работала на Красном Бору в леспромхозе. Ехали как-то с Тотьмы на машине в кузове. А зима, холодно на ветру. И гляжу, одиноко сидит паренек чернявенький. Без рукавиц, в воротник фуфайчки голову втянул. Я его подозвала к себе да пригрела. Потом он ко мне в библиотеку пришел. Из лесу, грязный, сырой. «Мне, — говорит, — книжку про любовь дайте!» Дала. А он провожать намерился меня.

Хорошо, отвечаю, только ты по мосткам иди, а я по земле, чтобы нам с тобой поровнее быть. Потом пришел три рубля занимать.

До сих пор не отдал. Не успел. Поженились. Ночью пожитки перевозили на санках, чтобы не стыдно было. Вот, говорят, костер разгораться не хочет, а у нас разгорелся костер-то. Трое детей.

Николай Прокопьевич молчал, лишь ласково поблескивал из темных бровей глазами небесной голубизны.

А хозяйка уже взялась за гармонь, и в избе рассыпалась частушечная скороговорка:

Все пришли, все пришли,
Все пришли, притопали,
А моего милого нет,
А, видно, волки слопали...

За окнами уже синели сумерки. Скоро у дома проурчал сыто мотор, и огромный джип с московскими номерами, слепя галогеновыми фарами отходящую ко сну деревню, выгрузил в заулоч команду экипированных по последнему слову моды и техники охотников, более похожих на пришельцев из другой галактики. Впрочем, наверное, так оно и есть. Столица давно уже стала иным миром для российской глубинки: бескрайне корыстолюбивой, непонятной, внушающей страх и тревогу.

Московские охотники были раздражены: на десятки километров в округе овсов не нашлось. Да их и не сеяли. Не было и следов медвежьего пребывания.

Вскоре приехали и наши товарищи. Мы собрались и двинули дальше на север, в самую глухомань Тарногского района, считавшегося еще недавно настоящей медвежьей республикой, где едва ли не под каждым выскирем была мишкина берлога.

В Степушино, где ждала нас пустая крестьянская изба и ночлег, приехали мы уже около обеда следующего дня, последние километров двадцать плыли по дороге, как по реке, не чувствуя порой под колесами земной тверди. Но велика же охотничья страсть, в угоду которой охотник готов принести даже свою любимую, обласканную, ухоженную, вылизанную машину.

Только вперед. Любой ценой.

И вот, где на ваге, где на домкрате, ломаясь и ремонтируясь в пути, выползли мы наконец на степушинский взлобок и зачарованно остановились. Нет, недаром Тарногские края звали некогда Вологодской Швейцарией.

Темные сосновые боры с вкраплениями золотых березовых перелесков, петляющие меж холмов речки с хрустальными водами и рассыпанные окрест деревеньки с особым тарногским архитектурным стилем, где что ни дом, то произведение плотницкого искусства. Дома — терема, украшенные затейливой резьбой, увенчанные горделивыми коньками, умещающие под одной крышей летнюю и зимнюю избы и схожее с государством разве хозяйственное подворье. И трудно понять, как мог человек оставить эту красоту, бросить на произвол судьбы плоды десятков и сотен крестьянских поколений, в поте лица трудившихся на этой земле и украшавших ее.

Отсюда в начале шестидесятых годов московские любители древностей, наживая себе состояния, начали вывозить грузовиками материальное выражение духовной красоты северян: иконы, медные складни и кресты, резные иконостасы и наличники с окон, прялки и туеса, охлупни с коньками.

Московские ценители старины и по сей день не перестают шарить по умирающим деревням, собирая чаще всего на продажу иностранцам стоящие больших денег свидетельства материальной культуры уходящей Северной России. Один мой знакомый, например, купил у проезжего собирателя, для перепродажи опять же, кусок полусгнившего охлупня с коньком за 150 долларов. Это годовая пенсия какой-нибудь тарногской бабуся, не ведающей, какое богатство, почитаемое ею за хлам, таится у нее на повити и чердаке.

...Завидев выгружающихся в деревне охотников, стало подтягиваться к машине местное население Степушина. Первыми пришли две коровы: степенная и важная Маленка, с огромным выменем и похожими на ухват рогами, да молодая, игривая Муха, с рогами, более походящими на вилы. Потом подтянулись их хозяйки, пенсионерки со стажем Анна Проталионовна с Галинкой Евсеевой.

Словоохотливая Галинка первой беседа завела, указывая на ружья.

— Вы, ребята, лючая на медведей-то охотьтесь. А то зимой шатуны в окошки к нам

заберутся да и съедят нас. Даром, что костлявые, а с голодухи-то им почавкать можно.

— Что, много медведей развелось? — спрашивали мы.

— А вон в соседней деревне мать с сыном на болото пошли за клюквой, медведица-то на них и напала, — с готовностью принялась рассказывать медвежьей истории Галинка. — Так сын на дерево изловчился заскочить и кричит сверху: «Мама, затаи дыханье! Мама, затаи дыханье!» А сам с себя все срывает да поджигал, чтобы отогнать зверину. Так та, сказывают, бабуку только в мох закатала, а не тронула. Уж не знаю, врут или нет, — перевела она дыхание. — А только вот я сама пошла на поле Муху пасти. А вижу у леса мужик черной приседает. Думала, ягоды берет. А чую, неладный мужик-то.

Уж рядом стали, боюсь да и кричу корове-то: «Куда пошла, куда, загниголовая!» — А тут он как подымет, да лапы-то колесом, так что сарай хороший! А потом как перепружится назад, так только кусты затрещали. Да еще чего-то не по-нашему и промявкали.

Еле домой пришла, штанишки сырые были. Больше уж коров на поле не пускаем, в деревне пасем.

— Это должно быть наш Академик, — с уверенностью сказал Каплин. — Ему вашу коровешку пришибить, что мне муху прихлопнуть.

Коровы, словно понимая грозящую им опасность, жались к хозяйкам, тыкались мокрыми носами в руки их.

— Вот беда: и без коровы нельзя, а и с коровой невмочь, — сказала горестно Анна Проталионовна. — У меня Маленка тридцать литров доит. Летом три деревни в округе снабжаю молоком. А теперь девать некуда. Взяли бы хоть у меня ведро творогу. Хоть за так отдам. Все одно пропадет.

— И у меня, может, заберете? — поддержала ее хозяйка Мухина. — И творог, и сметану, и сливки... А может, и саму Муху. Привяжите к машине и езжайте. В городе-то съедите. А у меня уж сил не стает за ней ходить.

И она отвернулась смахнуть набежавшую слезу.

...Стало совсем темно, медведи на поле не выходили, а сил бороться со сном не оставалось. Я вспомнил, как на вологодских овсах едва не погиб один из самых ярких представителей российского кинематографа. Он тоже задремал на лабазах и уронил карабин. А под лабазами в то время оказался медведь. Карабин угодил ему в голову. Мишка взревел, вздыбился и едва лабаза вместе с охотником не снес. Хорошо охотник с перепугу с лабазов не сиганул, когда они нос к носу с медведем оказались. Мишка тот был трехметрового роста (мерили, когда добыли все-таки его), а лабаза всего на двухметровой высоте были устроены.

Другой мой знакомый и вовсе на медведя с лабазов упал.

Подранил зверя в овсах, тот развернулся и к обидчику под лабаза.



Охотник хотел затвор передернуть, а затвор заклинило, дернул посильней, раз, другой, а лабаза были старые, а охотник слишком велик. Ну и рухнул на медведя всей своей массой. Хорошо, задавил на раз, а то далеко ли до беды?

Впрочем, эти воспоминания меня нисколько не взбудрили, и я, пристегнув себя ремнем к березе, тут же уснул, как пишется в сказках, богатырским сном.

...Сколько я спал, не ведаю, только явился мне во сне старый устьянский охотник Северьян из Богородского, которого звали все попросту Сивирей. Со старым дробовичком, в латаной фуфайке, драном треухе, с заплечным тощим мешком, на старых, наполовину уже стертых лыжах. Сивиря был самым знаменитым охотником на той стороне Кубенского озера.

Однажды лесорубы потревожили в берлоге огромного медведя. И пошел тот шататься, добывая себе пропитание. Среди бела дня на лесной дороге напал на учительницу, снял ей скальп, вырвал груди и съел. В окрестных деревнях началась паника. Послали гонцов к старому уже Сивире: спасай!

Сивиря не заставил ждать. Скоро собрался в путь, взяв с собой из съестных припасов лишь мешочек сухарей. От растерзанной учительницы следы уходили в чащобу. И Сивиря встал на след, и пошел распутывать медвежьё грамоту. Скоро зверь почуял охотника. Наверное, понял, что идет его смерть. И стал уходить. Он был стократно сильнее и сноровистее старого охотника, но охотник шел за ним, не отступаясь, день и ночь, второй день и вторую ночь, ни на минуту не давая отдыха ни себе, ни зверю. Лишь сухарик за сухариком бросал в рот. Медведя охватил ужас, он начал метаться, терять силы и к концу третьих суток пал без движения. Тут и нашла его пуля охотника Сивиря.

И вот этот легендарный Сивиря явился ко мне во сне. Он тряс меня за плечо, приговаривая ласково: «Вставай, парень! Медведи уже в поле!»

Я вздрогнул и открыл глаза. Почему-то было много светлее. Видимо, взошла луна и через облака освещала ночной мир.

Я попытался взглянуть в лежащее передо мной поле, но ничего не увидел. Недалеко в чаще вскрикнула тревожно ночная птица и стихла. И тут каким-то внутренним чутьем я понял, что зверь здесь. Его присутствие словно разливалось в воздухе, заполняло пространство, подчиняло себе и подавляло всякую другую живую волю – от мелкой пичуги до человека, сидящего на тонких жердочках меж берез.

Я усиленно таращил глаза, пытаясь разглядеть его в овсах, и скоро темные очертания зверя проявились в центре поля, потом в одном краю его, в другом, в третьем. Через несколько минут мне казалось, что все поле заполнилось медведями, все они шевелились, двигались, перемещались. Я ждал, что вот-вот наступит развязка, грохнет выстрел, другой, раздастся предсмертный яростный медвежий рев, вспыхнут фары прожекторов и обозначат лежащую черной копной тушу еще агонизирующего зверя.

Но выстрелов не было. Я сидел на лабазах полчаса, час. Поле по-прежнему в глазах моих было полно неясного движения, и я решил, что все это плод моего зрительно-го напряжения. Так просидел часа полтора, прежде чем нехорошие предчувствия начали закрадываться в мою душу. Похоже, что товарищи мои или безмятежно спали на лабазах, или их не было там вообще.

Стало тоскливо и неудобно. Тело от долгого сидения на жердочках занемело и требовало движения. Вряд ли в таком положении я досижу до утра. Слезать и идти без команды по полю: или подставить себя под пули, или нарваться на медведя...

Я совсем уж было отчаялся, как на другом конце поля в той его части, где оставили мы машину, замаячили призывные огни прожекторов.

Охотники звали меня к себе. Я приободрился, сунул в рот палыцы и свистнул что было мочи. И тут в овсянике раздалось испуганное хорканье, тяжелый топот и последовавший за ними треск кустов.

...Наутро мы снова поехали на овсы. Охотники мои были взволнованы. То тут, то там виднелись следы медвежьего ночного разгула: оставленные на глине отпечатки лап больших, средних и малых размеров, помет с непереваренным овсом и брусничкой, сбитая роса и примятые травы. Казалось, что на поле пировало медведей пятнадцать, не менее.

...Похлебка из русской печи была постной. Скрасили трапезу молоко да творог, принесенные добросердечными Галинкой да Анной Проталионовной.

— В природе, — рассуждал за обедом медвежий профессор Каплин, — есть так называемый эффект опушки. Всякая дичь, зверь всякий не живет в глухом лесу, все тянется к человеку. На опушке и тетерев, и заяц, и куропатка, и тот же медведь пасутся. А лось, он без вырубок не может плодиться. Есть вырубки, есть молодые побеги — и лосю есть кормовая база. На вырубках ягоды буйно растут: малина, брусника — опять же медведю приволье.

— Тут один москвич так выразился, — вступил в разговор Вадим Наволоцкий, — численность медведей, говорит, создали коммунисты. При коммунистах все поля засеивались, а убиралась, может, половина. То-то зверю раздолье было.

— Ну, а сколько всего медведей в области насчитывается? — спросил я Каплина.

— Тысяч семь. Самая высокая плотность во всей Европе. Ежегодно голов пятьсот по лицензиям отстреливается. Да сколько без лицензий. Надо сказать, популяция активно эксплуатируется. Сегодня на медведя только ленивый не охотится. При этом численность поголовья не падает, но сам медведь мельчает. Такие, как Академик, — уже большая редкость, — Каплин при этом палец к потолку поднял...

А я подумал, что медвежья охота при разумном подходе к ней могла бы приносить области немалые доходы. Как-то в одном журнале увидел я цены мирового рынка на медвежью желчь и жир. По лечебным свойствам им равных нет. Как противотуберкулезное средство, противоожоговое. Так вот цены на эти продукты были такими, что я

не решаюсь их здесь приводить, чтобы не навредить медвежьему племени. А иностранные охотники с их тщеславным желанием экзотического трофея?

Наш губернатор охотился в Танзании на диких зверей. Пригласил его Никита Михалков, снимавший публицистический фильм об охоте. Африканской экзотики хватило они вдосталь. Мухами африканскими были изъязвлены, пыли саваннской наглотались, под солнцем палящим сгорали. И никаких тебе цивилизованных удобств. Палатка да рукомыльник. И за всю эту экзотику африканцы деньги гребут.

– Подниму, – рассказывал Позгалеv, – ружье на какую-нибудь мелкую антилопу, а в голове счетчик включается: месячная губернаторская зарплата бежит. Так стволы автоматически и опускаются.

Но то наш российский губернатор, у западного миллионера кошелек потолще – рука не дрогнет. Так, может быть, разумно организованная охота, охотничий туризм даст толчок к развитию глубинки? Ведь есть еще у нас, чем удивлять и радовать. Теми же избами с резными наличниками и коньками на крышах, прятками да иконами, печами русскими да пирогами румяными... Банями черными и белыми, медами да сливками, каких сегодня во всей Европе днем с огнем не сыскать... Теми же легендами и чудесами явленными? Аль оскудели мы окончательно умишком и уж выгод своих не видим?

...Как ни стремились мы, а на лабаза выехать не удалось. Ближе к вечеру прикатил в деревню посыльный на тракторе. На середине пути в Степушино пропадали немецкие охотники. Выехали они на двух машинах: русском грузовом вездеходе «ГАЗ-66» и собственном мерседесе-вседорожнике. Дорогой «мерс» загорелся. Едва потушили. Какое-то время тащили его буксиром. Но потом и у вездехода грузовика отказали тормоза.

Мы оседлали «Ниву» Наволоцкого и пустились спасать немецких коллег.

Да. Картина была удручающая. У «немца» лопнул диффузор в карбюраторе, произошел перелив бензина, а потом вспышка. Выгорело все, что могло сгореть. Бывший здесь представитель фирмы «Мерседес» утверждал, что машину можно восстановить только на заводе-изготовителе в Германии или, на худой конец, в Москве на специализированной станции. Охота пропадала.

Но тут пришел местный Кулибин, в очках, стянутых резинкой, заглянул в мотор, хмыкнул иронически и запросил за ремонт литру..

Часа два спустя машина была готова. Диффузор деревенский Кулибин склепал из медной трубки, воздухозаборник на карбюратор соорудил из консервной банки «Килька в томатном соусе», шланги и провода погодились отечественные. Примотали все это где на скотч, где на проволоку, и вот уже загудел мотор. Немцы от такого народного творчества были в потрясении. Каждую операцию на видеопленку сняли, говорят, в Германии как сенсацию станем показывать.

Каплин тем временем с товарищами русским вездеходом занимался. Сняли они колеса, а там в тормозной системе на тормозном цилиндре резиновые манжетки прохудились. Казалось бы, пустяк, да где взять?

— Братцы, — говорит Каплин разгибаясь, — вот если бы у меня были, простите за выражение, презервативы, то я бы эту проблему враз решил. Только где возьмешь эти резинки в такой глуши? Тут ими, наверное, отродясь не пользовались.

Немцы заволновались, снова за камеры схватились, а представитель «Мерседеса» полез в карман и достал из кармана целую пулеметную ленту этих изделий.

— Возьмите, — говорит, — только разве это может быть совместимо?

Каплин обрадовался, скорехонько ножницами ободки отстриг — и на цилиндр. Тютелька в тютельку! Быстренько колеса на грузовик поставили — работают тормоза! Еще как!

Тут представитель немецкой автомобильной фирмы посерьезнел и попросил слова:

— Я хочу сказать, — волнуясь произнес он, — что Гитлер, Наполеон, Чингизхан были полными идиотами, когда решали покорить русский народ. Потому что ни одному немцу, ни одному французу или монголу и в голову не придет, что с помощью резиновых изделий интимного назначения можно починить тормоза такого огромного грузовика. Этот народ непобедим!

...Я уже не стал возвращаться на медвежью охоту. Материала у меня было предостаточно. Через неделю позвонил Каплину. Академика они так и не добыли.

— Не огорчайся, — сказал я ему. — Помнишь, как твой отец охотился с поэтом Яшиным на медведя. Тот потом еще такие стихи опубликовал:

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
Про то, как медведя убили,
Какими мы храбрыми были,
Когда он пошел на нас...

В Лодейке

Поехал я как-то в Москву. Неделю там пробыл, чувствую – все, больше не могу. Шум, суета, толкотня. Содом и Гоморра. Ад крошечный. Еле дождался, когда в вагонном окне покажутся родные вологодские груды битого бетона, ржавого железа и болота меж путей.

Вышел на родимую улицу: господи, какая благодать! Тишина. Никто не толкнет, на ногу не наступит. А через два дня пришлось ехать в Сямжу.

Там вообще чудо земное. Простор, а воздух – мед чистый. Из Сямжи в Усть-реку, центральную усадьбу колхоза «Нива», поехал. Там тишина и покой меня совсем поразили. Слышно, как муха летит. А воздух! Нектар. Вот где рай-то истинный! Нужно мне было найти колхозного пастуха Николая Окатова.

– А он, – говорят, – на хуторе в Лодейке пасет. Езжай туда.

Пробрался в Лодейку. Вижу, сидит Николай на крыльце единственного жилого тут дома и, по лицу заметно, блаженствует. Подсел к нему, вдохнул всей грудью воздух, прислушался к тишине лугов, а Николай ласково так говорит:

– Люблю Лодейку! – и тут же, немного погодя, – а Усть-реку терпеть не могу: шум, суета, толкотня. И воздух – отравка! А в Лодейке...

Он аппетитно затянулся сверхдорогим зарубежным табаком, что продают у нас сегодня вместо привычного «Беломора».

Затерянный рай

Есть на северо-западе Вологодчины маленькое село – Кичменгский Городок, которое знаменито тем, что в смутное время польско-литовского нашествия под стенами его был разбит последний отряд поляков под предводительством пана Лисовского.

Побежденные поляки однако на родину не побежали, слишком далеко было, а осели здесь же, мирно сосуществуя с местным населением. Отсюда так много в Кичменгско-Городецком районе польских фамилий: Наволоцкие, Подольские, Сиземские, Чекавинские...

А еще во времена застойные Городок делал лучшую в СССР «Краковскую» колбасу. Вот где сказалось польское влияние! Колбаса эта, вся она до килограмма, самолетами тут же отправлялась в Кремль.

И сегодня городецкая колбаса ничем не хуже прежней, хотя сельское хозяйство вместе с переработкой переживает не лучшие, мягко говоря, времена. Более того, сам комбинат день ото дня перестраивается и модернизируется. Этот неожиданный подъем мясокомбината связывают с именем его директора, энергичной и предприимчивой женщины Нины Степановны Поповой.

О ее предприимчивости легенды ходят. Например, она умудрилась заключить контракт на поставку в Голландию коровьих шкур, которые наши несчастные крестьяне вынуждены или сжигать, или в землю закапывать – у нас в стране почему-то никому коровьи шкуры не нужны. А вот Голландия на наши шкуры клюнула, причем договор был составлен так, что голландцы опрометчиво обязались взять эти шкуры самовывозом.

И вот там, в стране тюльпанов и намытых шампунями автострад, вызывает глава фирмы тракера, по-нашему дальнбойщика, и ставит перед ним задачу вывезти из России, а конкретно – из Кичменгского Городка, ценное сырье.

До Вологды голландский дальнбойщик добрался относительно благополучно. Но когда узнал, что до этого самого Городка еще шестьсот верст, на душе у него стало нехорошо. Да... Он еще не знал, куда едет...

И вот едет он сотню километров, вторую... и пейзаж не меняется. Едет третью, четвертую... Одни елки и снег. И никаких тебе супермаркетов, заправок станций,

кемпингов, где можно принять горячую ванну, выпить чашечку кофе... И что самое страшное: ни одной телефонной будки, откуда можно было бы позвонить на родину или вызвать с ближайшей станции ТО помощь. Случись чего!

И конечно же случилось. Где-то между Бабушкинским и Никольским районами, там, где начинаются отроги Северных Увалов, где такие спуски, что дух захватывает, понесло голландскую фуру по наледи, и вся эта огромная махина улетела посреди оцепеневшей от мороза тайги в глубокий кювет.

И вот ночь, звезды, тайга, снег по пояс... Надо представить себе весь ужас в груди простодушного голландца, не знающего по-русски ни слова.

Это уже отдельная тема, как нашел голландец по огонькам заснеженный скотный двор, как отогревался у водогрейного котла, как вытаскивали его колхозные трактористы из кювета... Наш рассказ не о том.

Какое-то время спустя в Голландию с ответным визитом была приглашена предприимчивая Нина Степановна.

И вот прибывает она в страну тюльпанов и намытых шампунями автострад, и везут ее прямым ходом в центральный офис фирмы, распахивают дверь совета директоров, и все, кто там был, дружно встают. И тут подходит к ней глава фирмы, обнимает и плачет самым искренним образом.

— Скажите, в чем дело? — тревожно спрашивает Попова. — Может быть, пока я добиралась сюда, сгорел наш комбинат, а может быть, в России умер президент?

— Нет, — отвечает глава фирмы. — Я плачу не потому. Я знаю больше. Наш водитель все рассказал. Он сказал, что побывал в аду, а вы там живете, и еще работаете...

— Ничего на свете лучше Кич-Городка и нашего Почтового Починка я не знаю. А я где только ни был: и в Казахстане целину поднимал, и в Сибири академгородок строил, и в архангельской тайге лес валил под космодром Плесецкий, на Дальнем Востоке в театре играл, в Карелии художественной самодеятельностью руководил, с Пермской оперой полстраны объехал. Есть с чем сравнить. Можешь себе представить, нигде так комфортно я себя не чувствовал. Город, он что? Он сплюснутая суэта и нервотрепка. А здесь я отдыхаю...

— Господи, да что же вы такое говорите, Аркадий Викентьевич! — воскликнул я, пораженный. — Видел, видел, как вы отдыхаете. На сенокосе, по жару: пот градом, рубаха к телу липнет, сенная труха за шиворотом зудит, овода, пауты, слепни как реактивные носятся, жалят, что железом каленым клеймят... А вы с утра и до вечера, как швейная машинка!

А зимой? По снегу в целик до лесу. Лошади и той тяжело. Одних дров навалить сколько надо?! А вывезти, а раскряжевать, расколоть! И связи с цивилизацией никакой: ни почты, ни телефона, автолавка и та раз в месяц завернет в ваш Почтовый. Не понимаю...



Аркадий Викентьевич Чекавинский, мой собеседник, прихлебнул из чашки крутого чаю и счастливо рассмеялся:

— Родина здесь наша, родина. А пауты что? К паутам мы привыклие, не замечаем, — сказал он. — А вот без родины человеку ну никак нельзя.

Почтовый Починок — маленькая деревенька в середине пути между Кич-Городком и Великим Устюгом. Лежит, словно медведь в берлоге, занесенная по брови домов чистейшими снегами, да курит в небо горьковатый дым осиновых дров. Всего и домов-то жилых не больше пятка, а все-таки деревня живая.

Еще несколько лет назад здесь не было даже электричества. Припозднилась лампочка Ильича, заплутала на путях прогресса. Так и жил Починок при свете керосиновой лампы, революцию и советскую власть пережил, приватизацию и ваучеризацию... И вовсе пропал бы Починок лет через десяток, оставив по-за себе лишь заросшие крапивой печины, если бы не вернулся в него на постоянное жительство Аркадий Викентьевич Чекавинский, солист Пермского оперного театра, со своей женой, балериной Чекавинской, и детьми Антоном и Иваном, Егором и Машей, оставив навсегда городскую квартиру с электричеством и газом, теплым санузелом и паровой батареей.

Чекавинские поселились в ветхом родовом доме, но за дело взялись круто. Добились и провели в деревню электричество, обзавелись грузовиком, лошадкой, парой коров, затеяли строительство нового в два этажа, с мезонином дома... Старший Чекавинский за прораба, а ребята с топорами и пилами... Не смотри, что молодые да городские, а такой домино отгрохали, что глянешь — и шапка с головы валится. Нынешней осенью Аркадий Викентьевич печи сложил и новоселье справили.

И вот сидим мы за большим семейным столом Чекавинских, на столе: фыркающий старинный самовар, пироги, рыжики в сметане, исходящая паром картошка, клюква в сахаре — настоящее пиршество, — едим, пьем чай и слушаем рассказы Аркадия Викентьевича.

— Я своих предков по материнской линии знаю до шестого колена. Мой прапрапрадед Ардалион Иванович выделялся большой набожностью. Из наших дебрей дважды пешком в Иерусалим ходил поклониться Гробу Господню, там и умер, имя его на Афонской горе высечено. Диодор Ардалионович, сын его, основал в трех километрах отсюда наш родовой Карандашевский Починок. Это уже на памяти моей матери было Марии Ивановны. На ее памяти деревня эта основалась, при ее жизни и существование закончила. Ах, какие там поля! Какие луга медоносные были! И все сейчас зарастает, и сил нет, чтобы поднять и спасти...

Аркадий Викентьевич тягостно вздохнул:

— Не знаю, смог бы спасти Карандашевский, останься я в деревне тогда, не знаю... Исходил всю Россию, а вот святой землей, земным раем для меня оказалась родина...

Жизнь его круто начиналась. После войны сразу попал в лагерь. Малолеткой. Подрались с ребятами из соседней деревни, дали срок. В лагере возили как-то картошку, оставили без присмотра, а утром двухсот килограммов недосчитались. Восемь лет лагерей. На лесоповал. Пайка четыреста граммов хлеба да баланда с капустным листом. Выжил.

В пятьдесят третьем со смертью Сталина на свободу выпустили. Стал жизнь навёрстывать. Куда только ветер перемен не заносил!

Да, событий в жизни Чекавинского не на одного человека хватило бы. От замалолетки в глухой тайге до залитых светом сцен лучших оперных залов и снова до маленькой, собравшейся было умирать деревеньки Почтовый Починок.

С возвращением семьи Чекавинских в Почтовый Починок ожила не только эта маленькая деревенька. Ожила, наполнилась новым содержанием культурная жизнь самого Кичменгского Городка. Раиса Павловна Чекавинская организовала в районцентре хореографическую школу в четыре класса. Долгими зимними вечерами с дочерью Машей они шили бесплатно, порой из собственных материалов, более сотни костюмов. А какие концерты стала давать хореографическая школа в этом затерянном медвежьем краю.

И сам Аркадий Викентьевич часто, напоив и накормив скотину, одев концертный костюм и бабочку, спешит в Городок на автобусе, чтобы дать концерт русского романса, а ранним утром снова вернуться к своим крестьянским заботам.

— Ах, какой певуньей была у меня мама! — закрыв глаза, вспоминает Аркадий Викентьевич. — Вот послушайте ее песню:

Как посею, как посею
Лен-конопель, лен-конопель...

Голос у хозяина густой, шелковистый. Иван садится за пианино, Егор гитару берет... Песня набирает силу, крепнет голосами жены и детей, ей тесно уже в новом доме, она выплескивается на улицу, летит над заснеженными полями и лугами, отзывается в ближнем перелеске и стынет вдалеке в студеном предвечерье...

...С рассветом хозяин уже на ногах, обряжает скотину, готовится ехать в лес. Но прежде неизменная на протяжении всей жизни процедура — обливание. Ужас берет, когда, проломив на ведре ледок, ухнет Чекавинский на голое тело, перекатывающееся крутыми мускулами, студеную воду и засмеется восторженно. Глядишь на него и поражаешься, не веришь, что скоро этому человеку исполнится... семьдесят пять лет! Что он старше своей жены почти на четверть века.

А он полон планов как на ближайшее, так и на самое отдаленное будущее, планов хозяйственных и творческих.

— Знаешь, — признался он, — у меня есть мечта. Хочу поставить на кич-городецкой сцене оперетту «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя!». Артистов уже подобрал, одна беда — нет клавира...

Я помог ему найти клави́р оперетты. Жду теперь вызова в Кичменгский Городок на премьеру. Жду с нетерпением, потому что и я уже теперь стремлюсь в этот затерянный в тайге край, как на землю обетованную.

Посидела...

Надежда Захаровна, в прошлом знатный кукурузовод, имеющая даже медаль за выращивание царицы полей, в конце 30-х была репрессирована вместе с мужем, крестьянином из соседней деревни, вознесенным судьбой в секретари райкома.

Почти год ее продержали в подвале, куда и воздух-то закачивали принудительно. Вышла на свободу старуха старухой, зубы цинга съела. Дети, подобранные знакомыми, увидев мать, пришедшую за ними, заплакали от страха. Забрала их, уехала снова в деревню.

Вспоминать о тех временах не любит, гораздо охотнее рассказывает о себе всякие побаски, которые якобы происходят с ней едва ли не на каждом шагу.

— Приехала как-то в Череповец. Пошла на базар, — говор ее с долей этакой иронической бравады. — Пошла на базар, значит. Вижу, мужик диван продает. Обшивка хорошая, пружины крепкие. Шестьсот рублей просит. Старыми, конечно.

Думала это, думала и купила. Села, посидела и смеаю: а как же это я его к пристани потащу? Тяжелый. А потом ведь и на пароход с диваном не пустят. Тут уж базар закрывают. Сторож в колокол брякает.

— Давай, — говорит, — баба, снимайся с дивана-то!..

Ох, ты мне! Чего делать? Посижу, побегая. Хоть реви. А тут этот самый мужик и идет... Который диван-то продал.

— Ты чего, — говорит, — расселась?

Так и так, говорю.

— Ох, — говорит, — ты и дура! Давай я у тебя его обратно куплю. За триста.

Продала. Чего делать-то. Триста рублей просидела.

В шестидесятые годы она была реабилитирована и восстановлена в партии. А о судьбе мужа так ничего и не узнала.

Танец маленьких лебедей

Еще совсем недавно деревня Большое Зауломское и впрямь была большой. В лучшие ее времена здесь было до сорока пяти дворов. Уже несколько веков стоит она на озере Уломском, которое является частью древнего водного пути из варяг в греки, соединяющим северные моря с южными. Испокон веков занимались здесь бурлацким промыслом да сеяли хлеб, жили справно. Но сегодня доживают свой век в Большом Зауломском три ее последних жителя.

Николай — единственный на всю деревню мужик и труженик, каких поискать. Ему около пятидесяти. Его жена — Валентина, возраст ее определить невозможно. На мир смотрит сквозь толстые стекла очков, но смотри весело, хотя судьба ее складывалась непросто, мы об этом умолчим и скажем лишь, что по образованию она ткачиха. Через улицу проживает с когами драгоценная их соседка Нина Николаевна, отдавшая силы лесному комплексу, потом колхозу, а ныне пенсионерка. Свои настоящие имена они не часто вспоминают. В округе их знают больше как Ковсика, Лявсика и Мормышку. Такие прозвища они сами себе придумали. Зачем? А чтобы, говорят, интереснее жить было. И то верно, развлечений в Зауломском немного.

Лявсик, Ковсик и Мормышка — мои друзья. Время от времени наезжаем мы сюда с оператором Володей Ильиным и пытаемся с помощью телевизионных средств помочь им в их нелегкой жизни, когда в одночасье рухнули гарантированные социальные блага и на страну хлынул девятый вал дикого нерегулируемого рынка.

Трудно сегодня всем, но герои наши оптимизма и юмора все же не теряют. Вот Нина Николаевна, она же Мормышка, заглядывает в камеру оператору и удивленно восклицает:

— Ой, я сама себя вижу там. Вон я стою, Вон, вон. Какая я крупная... Стою, как баба-яга.

Она картинно закуривает перед объективом ходовую в деревне «Приму» и комментирует тут же:

— Ну, как? А вот курю-то, так интересно, снимут меня? У машины-то. Скажут у Ники и машина есть... Крутая! А вот вы бы раньше видели меня, вот тогда крутая была. Бывало, из лесу приду, поллитру выпью — и ни в одном глазу. А уж петь да плясать со мной не тянись... А теперь чего уж, годы...

— Грех жаловаться, — возражаю я. — Вон про тебя на озере легенды ходят. Говорят, что больше тебя никто рыбы здесь не ловит.

— А вот мы сейчас на лодке поедem в озеро, там и посмотрим, — предлагает она азартно. — Я кол возьму, веревочку, чтобы не крутило. А сзади-то сарафанчик-то рваный. Не беда, если в кадр попадет?

Она подмигивает лукаво оператору и, подняв голову, показывает на горло:

— Тут у меня ничего нет?

— Да вроде ничего, — отвечает недоуменно Володя.

Нина Николаевна щелкает по горлу плохо гнущимися пальцами:

— Нету, говоришь? А надо бы...

Впрочем, говорит она это больше для прикола. Чего греха таить, в свои семьдесят лет выпить Нина Николаевна не прочь, но ума не пропивала никогда. Для веселья да для сугрева стопочку, две, а то все пять выпьет — только румянец на щеки выкатит. Лесная закалка!

Наконец едем в озеро на рыбалку. На веслах Нина Николаевна. Мне весел не доверяет. Мало ли чего, народ городской, не обученный...

Едем не близко. А смотрю, бабушка моя веслаться не устала и дыханье ровное. Гребет да байки про себя рассказывает:

— Раз я рыбачу, то меня и зовут Мормышкой. Это мне очень нравится. А еще прозвище есть: «Веслалась баба Йога». Лодка у меня деревянная, а весел не было. Так я лопатой гребла. Вот и прозвали так. Но рыбы всегда ловила много.

Тут из плавней вынырнула другая лодка.

— Вася! — окликает паренька в лодке Нина Николаевна. — Плыви сюда! Покажи, много ли набрал яиц.

Вася передает нам пластмассовое ведро, на треть полное крупными серыми в крапинку яйцами.

— Это яйца чайки, — поясняет нам Мормышка. — Они вкусные, их хоть жарь, хоть так вари. Мы их весной ведрами собираем. Все равно много чаек погибает маленьких. Зато нам к пенсии какое подспорье!

Тут она горестно вздыхает:

— А как жить? Как жить-то? Пенсия шестьсот с маленьким. А дров надо, хлеба надо, крышу крыть надо. А кусок рубероида 160 рублей! Вот озеро и спасает.

Она принялась вспоминать свои рыбацкие подвиги:

— В феврале здесь я поймала двенадцать щук. Одна щучина, наверное, килограммов на пять была. Я испугалась и от рыбыны убежала. А по весне все молила, чтобы лещ не клюнул. Клонет, у меня все оборвет, заревлю, пойду домой...

Наконец она остановила лодку и, поплевав на червяка, закинула удочку, более похожую на жердь, вытащенную мимоходом из огорода. Но тут же начался клев, причем такой, что я едва успевал снимать лещей да подлещиков с ее крючка. Ведро

наполнилось в полчаса. Знать, не зря молва по окрестным деревням про ее удачливость ходит!

— Все, — скомандовала Мормышка. — Теперь едем домой, лещей жарить будем, котов кормить. Коты меня встретят с радостью. Особо Килограмм! Этот сытости не понимает. Мы его с Лявсиком в сетке вешали — шесть килограммов вытянул. Экий нахлебник!

Она снова садится за весла и запевает на все озеро Уломское:

Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя не катал...

И эхо с пустынных берегов вторит ей многоголосьем.

Но вот еще один встречный в озере. В железной самодельной лодчонке, на корме и носу которой горы зеленого озерного мха, восседает по-царски Ковсик.

— Вот все лето мохом и занимаюсь. Больше нечем заработать, — докладывает он.

— Что за мох такой в озере, зачем ты его добываешь?

— Берут вместо пакли. Пакли тоже сейчас мало, льну-то не сеют. Вот у меня и покупают. Я на весь район знаменитый моховик, даже и в области знают. Этот мох хорошо идет на строительство, болотный гораздо хуже. Вот я и езжу, черпаю в озере вилами этот мох да на берегу сушу...

Не земля, а озеро да лес кормят сегодня последних жителей Зауломского. Ковсик с Лявсиком зимами заготавливают в лесу дрова на продажу (вся механизация — топор да поперечная двуручная пила), вытаскивают на себе по снегу в целик их на дорогу, тут и разделяют. Каторжный труд.

Летом — благодать. Деньги сами на озерном дне растут, знай вилами черпай, не ленись. А мох из озера Уломского не простой. В редком озере такой встретишь. Он имеет свойство в сухом виде как бы замирать. Но стоит лишь образоваться меж бревнами щели, стоит лишь влаге туда попасть, как он начинает расти, пока этот паз или щель не заполнит, и снова замрет. Дома на уломском мху стоят по сто лет и более.

...Мормышка с Лявсиком уже чистили в заулке огромного леща.

— Я и печенку в уху кладу, если без желчи, — делилась Мормышка. — Вон жиру-то сколько... Не пропадем. На огороде картошка вырастет, капуста...

Вечером по случаю нашего приезда, а также удачной рыбалки в Зауломском собралось застолье. Сидели у Нины Николаевны, немного ели, немного пили, но веселились на всю катушку.

Лявсик пела про остров Невезения в океане и танцевала. По худым ногам ее хлопали голенища резиновых сапог, но танцевала она здорово. Нынешней молодежи,



попади она на современную дискотеку, за ней не угнаться. Ковсик подпевал, Мормышка была на подтанцовке.

— Бабушки заулomские еще ничего, — хвалил Ковсик.

Потом Мормышка играла на языке русского, и они плясали с Ковсиком, но Лявсик все порывалась станцевать ламбаду и мешала патриотически настроенным Николаю с Ниной Николаевной.

Наконец устали и сели за стол с разговорами о житье-бытье.

— Вот так и живем, — сказала Лявсик. — Пенсии у нас нет. Летом — моховики, а зимой — лесовники.

— Нету работы, нету, — поддержала Мормышка. — Прежде-то мы с Колей на дворе убирались, а теперь и скота нет, и колхоза тоже — все развалилось.

Повздыхали. За окном стало не ко сроку темно. Накатывали с севера холодные снеговые тучи отжимка. Сиротливо стыла на ветру старинная часовня Петра и Павла о трех стенах, готовая вот-вот упасть.

— Ну, а о чем бы помечтали?

— А посидеть бы в хорошей компании, с хорошими людьми, попеть бы песен народных и хороших тоже... — сказала Мормышка, не задумываясь.

А Лявсик к вопросу серьезно отнеслась:

— Вот наша родная часовня, Колю в ней крестили. Мужа Нины Николаевны крестили. Помог бы кто с материалом, восстановить бы часовенку...

— Это надо обратиться к губернатору Позгалеву, — сказала Мормышка. — Пусть он нам даст помощь. Всего-то тысячу или полторы надо.

— На вино, наверное, — сказал я некстати.

Мормышка даже обиделась:

— Ну, нет... Почему это на вино?

— Без вина сегодня ничего не делается...

— Правильно, правильно, — поддержал меня Ковсик.

И Лявсик поддержала:

— Анатолий Константинович, я с вами согласна. Денег не надо, материал нужен. Летом с отпускниками бы сладили. Но церковь надо. Отреставрировали бы, батюшку бы пригласили, освятили...

Мы хотим, чтобы христианская вера наша восстала.

— Тянет к Богу-то?

— Тянет! — с жаром сказала Мормышка. — Еще как тянет. Не все матюгаться да грешить... Перед Богом я бы перекрестилась, чтобы Бог дал здоровья. А то ведь все одна, все одна. Копаю, дрова покупаю, ниоткуда помощи нет... А у меня крыша-то... Бог-то видит, кто кого обидит.

...И они дружно и трогательно запели про деревеньку-колхозницу.

А потом Лявсик учила Мормышку танцевать:

— Вот бери пальцы нежно, ноги ставь вот так.

Ноги у Нины Николаевны, в сапогах и штанах с начесом, плохо слушались, но все же она сделала и пальцы, и ноги так, как учила Валентина, соседка ее, и в тесной избенке ее под аккомпанемент языка закружил нас танец маленьких лебедей.

За окном, треснутым и заклеенным старыми газетами, начиналась метель. Снег падал на зеленый уже луг, ветер срывал с деревьев первые листья, стонал в окнах разрушенной деревенской часовенки, которая едва-едва держалась о трех чудом уцелевших и так много видевших на веку своем стенах.

...Непогода к утру улеглась. И вслед за стоном метели рядом с Зауломским, почти впритык к домам Ковсика и Мормышки, зарычали мощные моторы. Мормышка первой выскочила на улицу. В землю споро вгрызался ковшом экскаватор, готовя место под фундамент нового дома. Самосвалы тут же увозили вывернутую глину, наготове у штабеля бетонных блоков стоял подъемный кран, чуть дальше розовели бревна готового сруба и пиломатериал.

— Олег Львович приехали! — радостно крикнула Нина Николаевна, вышедшей на шум Валентине. — Я ему рыбы возьму на уху да пошли проведаем.

Солнце уже топило жаркими лучами остатки ночной непогоды. И сразу за старой деревней в веселом блеске лучей проявились очертания будущего фермерского хо-

зьяства. Стройка шла с размахом. Большой опушенный тесом и крашеный дом хозяина в центре был уже готов и обжит, рядом несколько двухквартирных домов для будущих работников, бани, гаражи, мастерские под технику, ангары и склады, модуль под переработку молока, а за дорогой — крашеный в розовое скотный двор на сто коров, с полной механизацией.

По владениям своим прохаживался приехавший из Вологды хозяин, тот самый Олег Львович Подморин, отдавал указания и распоряжения работникам.

Соседок, Мормышку и Лявсика, Подморин встретил как родных. Тут же из легко-вушки стал доставать подарки: каждой по хорошему еще костюму, платью и даже малюношенные шубы, правда, из искусственного меха.

— Ох, Олег Львович! Не ты, так нам бы тут карачун пришел! — радовались Мормышка с Лявсиком. — Как уж тебе и кланяться, не знаем.

— Мне бы вот еще крышу перекрыть да тополь у дома спилить, — попечалилась Нина Николаевна.

— Не расстраивайся, поможем, — охотно согласился Подморин и пригласил всех к чаю.

...Олег Подморин — человек в Зауломском новый. Он профессиональный строитель, человек деятельный, предприимчивый, командовал в свое время целым управлением, но с пришествием рыночной экономики Гайдара все строительство встало, пришлось искать другие средства к существованию. Создал в Вологде ссудную контро-ломбард, потом в наследство ему за долги досталось крестьянское хозяйство за полтораста километров от Вологды. И вот уже несколько лет все получаемые доходы вкладывает он в его строительство и развитие.

Здравые люди иначе, как безумием, такое предпринимательство Подморина не называют. Не зря же говорят, что сельское хозяйство — черная дыра, куда якобы бесследно проваливались и провалятся не только миллионы с миллиардами, но и целые триллионы.

Предыдущую хозяйку этого крестьянского хозяйства в округе звали рабыней Изаурой, потому как ничего, кроме хлопот, забот да долгов, занятие сельским хозяйством ей не принесло. Колхоз, угодыя которого лежат вокруг Уломского озера, тоже вот-вот отдаст Богу душу и развалится. Половина площадей — тысячи гектаров — уже утратила хозяйственное значение, не засеивается по пять-десять лет и быстро зарастает мелколесьем.

У Подморина тоже есть перспектива занять звание Богатого Буратино, который закапывал золото на Дураковом поле.

Олег на эти предостережения только усмехается, хотя и не отрицает, что вероятность прогореть у него велика.



А пока он планирует закупить сотню породистых высокопродуктивных коров, завести звероферму, гусей... Комплектует набор нужной техники, занимается подбором кадров.

Осмотревшись и просчитав возможности, Подморин заявил, что через два года его коровы запросто могут надаивать по 7 тысяч литров молока ежегодно. Заявление это услышали и не поверили, а многих оно возмутило: чего болтать, если и трехтысячные показатели были десятилетиями не достигаемы. А теперь и вовсе село на краю экономической пропасти оказалось.

— А как не оказаться? — возражал Подморин. — Вы поглядите, как расточительно дело поставлено: на летнюю дойку доярок везут автобусом, обратно автобусом, трижды в день. Потом за молоком огромный молоковоз летит — тоже трижды, а молока-то всего — фляга. А сколько вокруг этой фляги народу кормиться собралось: доярок, пастухов, шоферов, механизаторов, учетчиков и бухгалтеров, специалистов и управленцев? И так в любом деле...

Просчитал Подморин всю экономику хозяйства вдоль и поперек, и получилось в расчетах, что можно на здешней земле хозяйствовать с прибылью даже в нынешних условиях. И с хорошей прибылью. Одна проблема: чтобы доить семь тысяч, нужно на каждую корову угодий иметь не менее трех гектаров. А у них всего с лесом и

перелесками сотня. Надо еще гектаров триста добавлять. Правда, земли вокруг — море. Да что там море — океан. Вон она стоит пустующая, невостребованная...

...Пили степенно чай в доме у Подморина. Беседовали про погоду. Скорую посевающую. Олег Львович предполагал клеверами засеять гектаров сто или все двести. Попросить у колхоза пустующий клин в аренду или на других каких условиях. Но тут же сомнения его одолевали. В хозяйстве не больно приветливо его представителей встречают, от разговоров о земле уходят или выдвигают условия неприемлемые.

— Ой, Олег Львович! Да мы бы тебе свои земельные паи в колхозе с превеликой радостью и за так отдали. Хозяйствуй. Глядишь, когда бы и дровишек подкинул.

— А как взять? — покачал головой Подморин. — Паи-то ведь ваши обезличенные. В общей массе.

К обеду в хозяйство Подморина завернули большие гости: первый заместитель губернатора области по селу Сергей Громов и глава района Николай Дьяков.

Порадовались: много ли сегодня найдешь желающих вкладывать деньги в деревню. Причем свои деньги, не государственные, не ссуды и кредиты...

А когда вопрос о земле пошел, разгорячились. На косяке нового дома оставили запись двухстороннего соглашения. Администрация решает вопрос с выделением земли, а хозяйство Подморина к 2002 году выходит в надоих на 7-тысячный рубеж от каждой из ста коров. Договор скрепили подписями. Поехали в колхоз договариваться насчет аренды или передачи части пустующих угодий фермерскому хозяйству.

К вечеру Подморин получил добро на использование недалевого клина в 100 гектаров под посев клевера.

...В Большое Зауломское приехал я спустя полгода. Успокоенное темное озеро лежало в ожидании морозов и ледостава. Мормышка запасала на грядах червяков к зимней рыбалке, Ковсик с Лявсиком на весь день уходили в лес пилить на продажу дрова. Летом после демонстрации нашего фильма моховой бизнес у Николая пошел в гору, появились деньги, но благими намерениями, говорят, устлана дорога в ад. Ковсик подзагулял, да так, что впал в белую горячку, нарушил себя ножиком. Едва спасли. Теперь с большим трудом держит в руках не только топор, но и пилу. Но пить бросил напрочь. В трезвости воспитывает и Лявсика.

— Теперь он мне каждое утро чай в постель подает, — похвастала она. — Вставай, говорит, Лявонька, на лесоповал пора.

Подморинская ферма была уже на треть полна. Многие нетели уже стали коровами и доили в день от 25 до 30 литров молока. Мы подсчитали, что если эти надои удержать, то уже сейчас годовой надои подойдет к семи тысячам литров.

— А как с землей? — спросил я.

Наступила тягостная тишина.

— А земли нам все еще не дали. И, наверное, не дадут...

— Ну, а те 100 гектаров под клевер? Вы же вспахали, удобрили почву и засеяли.

— В колхозе сменилась власть и прежний договор не признали.

— Обманули, значит?

— Выходит так, но это им на пользу не пошло. И урожай пропал, и колхоз, считайте, что развалился. Вот сейчас они просят ссуду в пять миллионов, проедят ее, и все!

— Тогда вам легче землю под себя получить.

— Увы, — отвечал Подморин. — Вся земля по-прежнему в паевых обезличенных долях. Нужно ее еще изъять, а как ее изъять у нерадивого хозяина, когда нет закона и ответственности за эту нерадивость нет. Да и самого хозяина, по сути дела, нет.

Брошенная, зарастающая земля сиротливо лежала вокруг темного озера. Природа ждала перемен. Ждала перемен и земля.

...Прошел еще год. Подморин заново построил часовню, пустил в строй новые дома, привез кадры, вложив в хозяйство своих несколько миллионов рублей. Земли у него не было по-прежнему. Старая, брошенная колхозом пашня неподнятой целиной лежала рядом. Чужая земля.

В глазах Подморина стояла тоска человека, обманутого в лучших чувствах.

— Все в воле местных чиновников, — сказал мне старый газетный волк из Москвы. — Закон тут ни при чем. Не захотели дать. А почему — ищи причину...

Прионежская уха

На северо-западе Вологодчины в ожерелье бронзовых столетних боров и темных замшелых скал лежит оваянная легендами и преданиями, диковинной голубизны и немереных просторов, древнее озеро Онего, одно из самых чистых, крупных и рыбных озер России. От одного перечня ценных пород рыбы, как лосось, паляя, сиг, ряпушка, форель, хариус, голова кругом идет...

Почти сто тысяч квадратных километров занимает оно. 170 километров в длину, до ста двадцати в ширину — настоящее, неохватное глазу море. И характер у него непростой, то ласковый и теплый, то сердитый и студеный, то откровенно грозный и вероломный. В пучинах его погребено множество человеческих судеб.

Но добраться от Вологды до озера не так-то просто. 400 верст, из которых сотня убийственных, вынут и нуто, и душу. И все же мы отважились на этот путь, чтобы попасть на путину к прионежским рыбакам.

Была уже середина мая, местами зацвела черемуха, обочины желтели золотом одуванчиков, в зеленеющих пока еще несмело чашах звенели птички трели.

Но каково же было наше удивление, когда, подьхав к озеру, мы увидели бескрайние торосы льда, которые уже оплавильсь от тепла, но все же непоколебимо искрились под солнцем до самого горизонта. Казалось, что озеро не освободится от этого ледового плена как минимум до середины лета. Онего в очередной раз сыграло недобрую шутку с людьми, видимо, рассердившись за что-то на них.

Одна из здешних легенд гласит, что во времена польско-литовского нашествия приблизились вороги опасно к одному из монастырей и монахи, спасая святые реликвии, сложили их в снятые колокола, отверстия забили и опустили на дно озера. Забурлило озеро, ударили со дна его ключи, и ушли колокола в пучину, скрылись из глаз людских.

Монастырь был врагами взят и сожжен. Но явилось чудо: каждый год под Пасху со дна озера раздавался явственно колокольный звон и торжественно, непобедимо разливался он окрест всего Прионежья.

Рассказывают легенды о царе Петре, одержимом идеей строительства первого в

России рукотворного водного пути, названного потом Мариинкой. О том, как пробирался он со товарищи дикими чашами и болотами, как несли его онежские рыбаки на жердях, поскольку грузен был царь и не держала его гать.

А еще бытует в этих краях множество легенд о разбойниках, живших в глухих дебрях и грабивших купцов на торговых путях, о кладах, сокрытых в прионежских болотах. Есть даже описания, как искать эти клады: «Под той елью до ключа положено в котел и под голенище семь тысяч рублей, ставные бревна поставлены и ключ тот засыпан песком, и на ключе том растет ива...»

Можно от скуки те клады поискать, но все же главное богатство края конечно же лежит в синих водах седого Онега, а также в сотнях и тысячах прилегающих к нему озер.

...Да, налим был изрядный — полпуда весом, не менее. Голова плоская, что наковальня, а брюхо — горой. Нахватался, видимо, подходящей на нерест корюшки. Андреев поддел кожу на брюхе, и наружу вывалилась вольно огромная бело-розовая налимя печень — вожделенный предмет каждого рыбака. В ней тоже было не меньше килограмма весу! Знатная будет уха.

— Это еще что, — удовлетворенно говорил, разделявая налима, председатель Онежского рыболовецкого колхоза Игорь Андреев, — попадались экземпляры по 18 килограммов.

Уху варили мы на берегу Тудозера. Это довольно крупное озеро, которое соединяется с Онега небольшим проливом. На Тудозере давно уже царила весна, гнездилась птица, нерестилась рыба, а в Андоме Гуре вот уже несколько недель бесплодно томилась рыболовецкая артель, выжидая, когда отгонит попутным ветром льды из устья Андомы-реки и можно будет поставить ловушки на «кореха», так называют здесь корюшку — мелкую рыбешку, побратима снетку и ряпушке. Вся эта мелкая рыбешка происходит из благородного семейства сиговых, и если ее правильно приготовить, то вкус имеет тончайший.

А в Прионежье рыбу умеют и ловить, и готовить.

Вот уже и на нашем костре закипает огромный походный чайник литров на пять, в каких прионежские рыбаки обычно и варят уху. Удобно потом наливать ее через носик.

Андреев рассказывает, что в Вытегорском районе едва ли не каждый третий — рыбак, который тем или иным способом добывает себе в озерах пропитание. Но вот с промышленным ловом возникают нынче проблемы, и не малые.

Третий наш собеседник Игорь Полюшкин, начальник районного управления сельского хозяйства, поддержал председателя:

— В былые годы его хозяйство добывало в год до 900 тонн рыбы, теперь вполонину меньше. А в целом район мог бы брать со своих озер до 1200 тонн в год! Обидно.

...Рассказывают здесь такую легенду, что однажды Петр I, подъезжая к Вытегре, не услышал пушечной пальбы.

— Почему пушки молчали? — вскричал государь.

— Ваше величество! У меня сто причин. Первая — нет пороху.

— Достаточно! — оборвал коменданта царь.

Та же история и у современных вытегор. Надо бы на озеро, да не с чем. Во всем виновата неудачная приватизация.

В свое время был здесь весь комплекс перерабатывающей рыбной промышленности, холодильники, когда вся рыба и деньги от ее продажи оставались в Вытегорском районе.

В результате приватизации район потерял рыбзавод и всю перерабатывающую промышленность и стал, как говорится, горбатить на дядю, за бесценок сбывая уловы в соседнюю Ленинградскую область и Карелию. Часть оборудования было продано, причал и здание отданы в долгосрочную аренду. Теперь, чтобы восстановить былое, нужны большие капиталовложения, нужно все начинать, можно сказать, с нуля.

А уха из налима была сказочно вкусна. Особенно его печень, выложенная на свежий лист мать-и-мачехи.

У нас на Шексне тоже мужички налима промышляют. Особенно ловится он в самые крещенские морозы, когда на нерест идет. А нерестится он по глубоким каменистым ямам. Одна такая яма под железнодорожным мостом. Вот наши мужики и приноровились: вытаскал налима с глубины, а у того от перепада давления печень к горлу подкатывает, зацепят ее крючком, вырвут, а в рот налиму железнодорожный костыль спустят. Для объема и веса. А потом продавать бабкам несут.

Бабки жалуются:

— Что же это, ребята, у вас налимы-то с костылями?

— А под мостом ловили, с моста костыли падали, вот они и наглотались, видать, костылей-то.

Да, не зря, видимо, в свое время Петр I, в указе писал: «Рыболовство и торговля — дело искони воровское, а посему жалование им положить мизерное да по одному в год вешать, дабы им не повадно было...»

За налимельей ухой вспоминали мы непередаваемого вкуса рыбу палию и форель, поругали приватизацию, на которой нажилося всего несколько человек, но зато без заработков и онежской рыбы остался не только Вытегорский район, но и область в целом...

А вечером отправились мы в Андому Гору, самую отдаленную бригаду рыболовецкого колхоза, где сидели рыбаки, ожидая, как водится, у моря погоды.

...Ничем не приметная деревня Андома Гора знаменита своим обрывом, почти отвесно уходящим в озеро. Это охраняемый геологический памятник природы. Невозможно стоять рядом с кромкой его. Кажется, вот-вот подхватит тебя ветром, и полетишь ты над сиреневыми льдами озера, и потеряешь душу свою, а тело потом прибьют волны к песчаной отмели Андомы Горы. Но местное население, похоже, не страдает такими вот возвышенными чувствами при виде этого чуда — похожей на сказочного кита горы, склоны которой текут фиолетовыми, алыми и бирюзовыми переплетающимися меж собой потоками глин.

Вот ковыляет, подпираясь палкой, к озерному обрыву древняя бабка, долго смотрит из-под руки в просторы покрытого льдом озера, выглядывая, не показался ли где долгожданный синий прогал чистой воды. Вся округа день ото дня ждет прихода кореха.

...В темных пучинах синего Онего-озера живет и не тужит этот знатный онежский корех. Росту четверти не более, тонкий, будто осотный лист, он, словно бисер, рассыпан по бескрайним просторам Онего, и рыбаку ловить его нет никакого смысла. Но каждую весну, как только отгонит от Андомы-горы льды за горизонт, как только над побережьем появятся несметные полчища морских чаек и закричат они пронзительно, собирается корех в огромные стаи и девятым валом катит в нерестовые речки.

В это время для рыбаков начинается страда путинная, которая требует от них полной отдачи сил. И нет в это время рыбакам ни сна ни отдыха. Корех идет!

И становится эта малая рыбаха, в палец величиной, главным кормильцем Вытегорского края. И стоит над всем миром запах свежепросольных огурцов. Так пахнет онежский корех.

...Устье Андомы встретило ошеломляющей тишиной. Словно зачарованные волшебным сном, стояли у причала рыбацкие катера, отражаясь в закатом высвеченных водах, смолисто пахли деревянные лодки, огромные горы неводов недвижно лежали на пирсе. Людей не было. Наконец, скрипнули двери железной основательно помятой будки, и вместе с горьковатым дымком и пряным запахом поспевающей ухи вывалился на волю заспанный, заросший мужик, в клееных-переклееных броднях, походивший всем обликом своим на онежского водяного, от которого давно уже сбежала жена.

Мужик радушно пригласил нас в свое убежище, где на железных нарах кантовался еще один такой уховник. Мы приняли приглашение и скоро уже уписывали за обе щеки из огромного закопченного блюда невероятно больших, длинную в четверть метра, корехов.

Это была подледная, особо крупная корюшка, которая первой подходит к устью Андомы на нерест. Но ее мало. И охотники до подледного кореха ночи не спят, чтобы именно его запасти к зиме.



Наши радушные хозяева рыбаками не были, скорее, бичевали тут, надеясь прокормиться во время путины у рыбаков да зашабашить какую копейку на продаже левой рыбешки.

...Ночевали мы в деревне Щекино на Тудозере у знакомых. В горнице было жарко и душно. Сладковато-огуречный запах пропитал все пределы избы. В русской печке томился подсыхая корех. Видимо, местами он уже подошел к речкам, и местное население начало заготовки его к зиме.

Делается онежский суц из корюшки так: протопленная печь заметается, на под густую накидываются березовые прутья, а поверх прутьев рассыпью валят кореха. Долгую зиму будет эта малявина кормить прионежское население. И суп с сущем, и щи, и пирог, и просто отварной с картошкой – не приедаются.

Но и то, заметим, что местному населению сегодня не до разносолов. За последнее десятилетие деревня крепко обеднела. Итоги приватизации и реформирования видны на каждом шагу.

Пустые и разрушенные скотные дворы и тут же разрушенный и растащенный завод по переработке рыбы.

Прошлым летом останавливался я в этой деревне в доме Зайцевых. Это молодая семья. Жена Вера работала когда-то дояркой, возглавляла комсомольско-молодежную бригаду. Анатолий пахал землю. Но хозяйство разорилось, и Зайцевы оставили благоустроенный коттедж, землю, перебрались в родительский дом поближе к озеру, чтобы прокормиться.

Поздней осенью выехали они на лов лосося в штормящее озеро. И не вернулись. Озеро до сих пор хранит страшную тайну и не отдает тела рыбаков.

Соседка, древняя бабуля, увидев меня у заколоченных дверей зайцевского дома, охотно пустилась в объяснения:

– Вот они осенью поехали туда на сети и не приехали. Вот Женя еще Лапсаков – трое. Слышали будто, как кричали, потом все тише и тише... Вот озеро растает, станут искать, поди... Жаль, жаль робят...

Бабушка утерла набежавшую слезу и добавила:

– Вера у меня девяносто рублей заняла под дрова. Дрова заготовлены где-то в лесу – поминай теперь.

Надо сказать, меж рыбаками в озере царят суровые законы. Может быть, и шторм, и девятый вал ни при чем. Но если кто попадет на чужих сетях дважды – расправа будет жестокая... Молчит озеро, хранит свои тайны.

А рыбаки меж тем не перестают славить Онего. Сколько про него сложено песен да стихов... Встретился нам у озера отец с дочерью и вдохновенно на камеру прочитал самодельный стих:

Поднимутся валы — седые великаны
И к соснам подойдут, беснуясь и ревя.
И бревна полетят на берег одичалый,
И ветер зарычит, и задрожит земля...

И долго будет так безумствовать стихия,
О, Господи, спаси скорлупки кораблей!
Спаси же рыбаков, дай капитанам силы,
Дай женщинам земным увидеть вновь мужей!

И словно вняв мольбам, утихнет буйный ветер,
И пики водных гор вдруг сгладятся... и вот —
Качает неба зыбь — то колыбель столетий,
И над пучиной вод светлеет небосвод...

...Но не только в природе светлеют небосводы. Похоже, что рассветная заря занимается и над тудозерским колхозом «Земледелец», который, казалось бы, умер на веки вечные.

С некоторых пор управление колхозом попало в руки властной и решительной женщине, которая твердой мужской рукой занялась восстановлением разрушенного хозяйства.

Новым председателем стала Валентина Николаевна Никифорова, вчерашний следователь, как она сама говорит: «Мент».

Невысокая, коренастая, седовласая председателыша в течение месяца разбудила впавшую, казалось бы, в летаргический сон деревню.

Выхлопотала месячную отсрочку долгов за электричество и включила пилораму, получила по старому благу на нефтебазе кредит соляркой, выгнала мужиков в конце марта на заготовку леса и вывозку его. Трактора тонули, но вывозили спасительный лес. Вряд ли трактористы верили, что сам колхоз вылезет из трясины, наверное, больше побаивались своей милиционерши, от пристального глаза которой ничего не укроется...

Но пилорама работала, доски покупали, деньжата появились, начали оживать, просыпаться окрестные деревеньки.

Вслед за лесом стал «Земледелец» осваивать окрестные озера, бригады рыболовецкие создавать, причем сети были личные, но доходы от выловленной в них рыбы пошли в колхозную кассу.

Лес да рыба дали возможность и земледелием заняться, корма вырастить и собрать, фермы починить и скот в них поставить...

Как дальше дела в «Земледельце» пойдут, сказать трудно. Поскольку возраст у председателяши новой давно пенсионный. Уйдет на отдых, а вот найдется ли еще такой милиционер, способный дальше продвинуть экономику колхоза? Вот в чем вопрос? Дело-то, оказывается, не безнадежное. Хозяев мало.

...На следующий день мы вновь были у рыбаков в устье Андомы.

Бригада была в сборе, готовились к выходу на мережи — особого рода ловушки, выставленные в устье реки, рыбаки надевали оранжевые прорезиненные комбинезоны, молча и нервно курили.

Тепла не было, и даже пошел вязкий густой снег. Однако кромка льда все же отодвинулась в глубину озера. И над урезом льда кружили мелкие крикливые морские чайки. Корех был рядом, на подходе...

Обгоняя друг друга, рыбацьи баркасы устремились в озеро. Наш баркас первым зацепил свою мережу. Веселый рослый рыбак, которого все именовали Тесой, потащил на себя обруч мережи и, поднимая к небу палец, радостно крикнул: «Ребята! — Во!»

Под пронзительные крики чаек и довольный гомон рыбаков вытащили в лодку чупу, густой поток живого серебра хлынул в баркас. Среди потока корюшки мощно ворочались полупудовые налимы, изредка проворачивались хариусы под килограмм, и даже несколько редкостных рыб палий попало в сети рыбаков.

Путина началась.

Чуть позднее на причале бригадный уховар Валентин Алексеевич Каев, по прозвищу Главный Бомбардир, варил свою знаменитую уху, в которой были только рыба, налимыя печень, вода и щепотка соли. Причем рыбы и печени был полный казан, а вода только скрывала рыбу.

Испещренное морщинами лицо Каева сияло радостью.

Уху хлебали в старом сарае, с провалившимися половицами. Пришел из деревни старый бригадир с гармошкой Валентин Иванович Паршуков. Пропустили по стопочке.

Рыбак Александр Моськин тут же вспомнил историю:

«Иду еще затемно в озеро на рыбалку. Снег метет, мороз. Слышу сзади вроде кричит кто-то. Думаю — блазнит, дальше иду. Километра четыре отошел — жена догоняет. Испугался, случилось, может, что? А она бутылку подает. Забыл, говорит».

Дружно захохотали и тут же послали за добавкой. В долг под будущую рыбу.

А старый бригадир заиграл особую прионежскую плясовую, более похожую на кадрили.

Первыми поднялись Теса с Бомбардиром и закружились в танце каждый сам по себе. Потом Теса снял со стены, на которой висели сети, кольца и поплавки, портрет роскошной обнаженной красотки с пышной грудью и стал танцевать с портретом.

Было очень трогательно: огромный Теса топтался в бродовых сапогах на прогибающихся половицах, нежно сжимая в негнущихся, изъеденных цыпками руках томную красавицу.

А Бомбардир, оставив кадрили, сел ко мне и стал рассказывать, как однажды молодой рыбак, соскучившись по женской ласке, напал на женщину в годах и пытался изнасиловать. Дело дошло до суда. И точно посадили бы парня, если бы адвокат не выручил.

— Расскажите, как дело было? — спрашивает бабу-то.

— А, — говорит, — повалил на пол, подол задрал, а вот попасть никак не может.

— А что вы в это время думали?

— А, — говорит, — скорей бы уж попал, а то у меня кипятильник включен, так избу не спалить бы...

Бомбардир рассказал эту историю, но не засмеялся, а даже, как мне показалось, смутился.

Выпили еще. Потом дружной компанией вышли на пирс. Паршуков играл «Одинокую гармонь», а бригада старательно, но нестройно подпевала.

Каев-Бомбардир растроганно смотрел на старого бригадира и говорил мне:

— Иванович был у меня первым бригадиром. С детства. Таких теперь не найти никак. Никогда.

Падал на причал мелкий снег. Где-то далеко на озере кричали чайки, рыбаки пели, и старый рыжий пес Пиночет, вторя им, поднял голову и завыл.

Наутро рыбаки снова ушли в трудную и опасную путину.

Тайна русской печи

С писателем Ярославом Головановым, популяризатором нашей науки, путешествовали мы по Вологодчине. Начальство уговорило меня показать маститому литератору нашу деревню. Ярослава тогда из космоса потянуло на грешную землю: он писал серию очерков о Нечерноземье.

В конце концов надоело мне возить его по предписанным сверху передовым колхозам, и я предложил ночевать в неперспективной деревне. Тем более, недалеко у моего товарища пустовал, по причине глубокой осени, крупнейший дом.

Ярослав сторжача согласился, и вот мы уже топим в промозглой деревенской избе огромную, схожую с домной, глинобитную печь. Печь сожрала уже накладки три дров, напротив ее устья невозможно стоять, а в избе мерзкий холод, да и сама печь холодна, как могила.

— Ничего, — успокаивал я Голованова, когда скрыл трубу и мы забрались на печь ночевать, — часа два как-нибудь выдержим, а потом здесь будет Африка.

Ярослав не реагировал на мои бодрые прогнозы, но потом сквозь зубовную дрожь выдал:

— Что ты такое говоришь? Ведь я по специальности теплотехник. Я у самого Королева в ракетном институте работал, и я прекрасно знаю, что если источник тепла иссяк, начинается медленное остывание, а отнюдь не нагревание.

Я не возражал. А часа через два, мокрые, мы скатились с печи — жара там стояла чище африканской.

...Возвращаясь в город из поездки, мы решили отобедать в кадниковской столовой. Взяли первое, второе, а вот третьего не оказалось вовсе: в столовой не было воды. А пить хотелось.

— Девушки, милые, найдите чегонибудь — в горле пересохло, — уговаривал я розовощеких молодых поварих.

— Есть чай, — наконец сказала одна. — Но холодный.

— А почему холодный? — дипломатично поинтересовался Голованов.

— А потому, что мы его в холодильник ставим, — строго отвечали девицы.



— А зачем в холодильник? — искренне удивился Ярослав.

— А потому, что воды нет, мы уже вам сказали, — начали наполняться раздражением наши кормилицы.

В глубокой задумчивости сели мы за обед. Когда дошли до чая, Ярослав сказал:

— Сколько лет занимаюсь я научными тайнами, парадоксами мироздания, а вот этой логики постичь не могу: зачем чай нужно было ставить в холодильник?

— Какой все же ты непонятливый, — отвечал я ему. — Они же тебе русским языком объяснили: воды нет.

До самой Вологды Ярослав обдумывал этот силлогизм, потом сказал, обращаясь, наверное, сам к себе:

— Черчилль, увидев зимой москвичей, свших на морозе мороженое, воскликнул: «Этот народ непобедим». Наверное, он был прав!

Я охотно согласился. А когда провожал Ярослава на поезд, он уже у подножки вагона тоскливо спросил:

— Ну, ты-то мне объясни, зачем им нужно было ставить чай в холодильник?

— Про запас, — просто отвечал я.

Так и уехал Ярослав Голованов, научный обозреватель «Комсомольской правды», с печатью неразгаданной тайны на челе.

«Толщите и отверзется»

Было это в году семьдесят втором. Он сразил меня своей бензопилой «Дружбой», которая кроме того, что пилила дрова, еще и пахала огород, окучивала картошку, копала ее, косила сено, поливала огород... Потом он показал мне свой вездеходный мотоцикл, который преодолевал любую топь. Потом маленький чудо-автомобиль с синхронной работой цилиндров, потом ветряк на крыше, с помощью которого он получал все необходимое в подворье электричество... Потом мы пошли на пасеку, и он показал рамки с полиэтиленовыми сотами, потом показал сосну с привитым на ней плодоносящим кедром, потом за чаем открыл толстую папку с авторскими свидетельствами на изобретения и новыми инженерными разработками.

— В сельском хозяйстве идет неправильная государственная политика. Все время кричат о нехватке кадров, пытаются закрепить молодежь в деревне. Но я на примере нашего совхоза готов доказать, что у нас не только в достатке работников, но даже излишек их. И никакие шефы нам не нужны, — убежденно говорил мой новый знакомый, показывая чертежи.

Деревенского Кулибина звали Валентином Петровичем Чистяковым. Работал он токарем в совхозе «Братковский», а жил в крохотной деревеньке Горка Шекснинского района.

Окрыленный журналистской удачей, бросился я в редакцию, написал сенсационный материал и, гордый, отнес его редактору. Но статью почему-то не печатали, а потом меня пригласили в райком и, строго глядя в глаза, сказали, что об этом человеке писать не следует, поскольку у этого человека темное прошлое, что он не наших убеждений и, кроме того, у него... связь с Чикаго. Вскоре я уехал из района, а потом кто-то и вовсе сообщил мне, что Валентин Чистяков не жив. И вдруг спустя столько лет письмо с приглашением из Горки. От самого Чистякова. «Приезжай, — писал он, — много интересных материалов».

И я полетел тотчас. И нашел его в полном здравии: окладистая с проседью борода, уверенный, веселый погляд. Сидя на маленьком раскладном стулике, Чистяков колот дрова и складывал их в железное корыто для перевозки к поленнице.

Все тот же маленький домишко, небольшой сад, кедр на сосне, еще три-четыре избы — вот и вся Горка, обдуваемая ветрами с четырех сторон.

— Нет, ты мне скажи, — спросил я без обиняков, — почему тебя обвиняли в связях с Чикаго?

Валентин засмеялся.

— Было дело. Кажется, в сорок седьмом услышал я передачу из-за границы. Предлагали бесплатную рассылку Евангелия. Я возьми да и напиши. А они взяли да и прислали. Вот оно, то Евангелие. Сорок лет спустя прислали Библию. Вот и все связи.

— Из любопытства написал?

— Нет. По вере. Я же христианин. А рассказать, как стал верующим? О, это целая книга.

Шестнадцать лет после ФЗУ оказался я в Свердловске. Шла война, и мы работали на военном заводе по производству снарядов для «катюш». У меня голова и тогда варила. Было много брака. Горы брака. Придумал, как исправлять этот брак и на том же станке стал в десять раз больше точить снарядов. Заметили, отметили, стал получать в столовой премиальное блюдо. Великое благо в те голодные годы. Из цеха перевели меня в отдел главного механика. Неслыханное явление! Стали «самородком» звать. Это меня и сгубило.

НКВД присматривало толковых и способных людей для своих «шарашек» — закрытых конструкторских бюро. Быстро состряпали дело и на меня. Обвинили в подделке продовольственных карточек. Бросили в камеру, били, пытали, добиваясь признания вины.

Вопрос стоял так: или подписываешь обвинение, или живым отсюда не выйдешь. Сокамерники посоветовали не испытывать судьбу, подписать. Дали семь лет. Вот там-то я и стал верующим.

Каждый день из зоны вывозили горы трупов. И я заметил, что все эти сверхчеловеческие испытания: голод, холод, побои, унижение, — наиболее стойко переносят верующие. Кроме того, они еще дважды в неделю не принимали пищи. И оставались живы, здоровы, не отчаивались и не поддавались унынию. Они научили меня слову Божьему. Наверное, благодаря вере и я остался жив.

В сорок седьмом, когда освободили, приехал я в родную Горку. Мать меня не узнала, отшатнулась: «Моему сыну всего двадцать лет, а вам за шестьдесят!»

Но это был все-таки я.

Работать я устроился в Чебсарскую машинно-тракторную станцию. Как раз уборочная только начиналась. Заглянул под комбайн — под ним зерна столько же, сколько и в бункере. А что будет на ходу? Вот где урожай пропадает! Придумал я систему

герметизации комбайнов резиновыми полосами. Урожайность по МТС получилась в два раза выше. Из района и области, как из рога изобилия, награды посыпались. Комбайнерам, бригадирам, механикам, начальству. Только мне ничего. Замполит говорит: «У нас ум, честь и совесть принадлежит партии. Вступай в наши ряды, будет и тебе честь».

— Нет, — говорю, — я христианин и вере своей в угоду пирогу изменять не могу. Пришлось оставить МТС. Стал в совхозе токарем трудиться.

Добрый дар в человеке от Бога. А я всегда чувствовал в себе способность что-то улучшать, творить. Еду, скажем, в Питере по эскалатору, чувствую, что лента неровно движется и словно открывается мне причина. Дома за чертежи сажусь, направляю им свои предложения по увеличению срока службы эскалаторов. Не знаю, воспользовались они или нет моим предложением: их дело.

В пятидесятых разработал я новый способ соединения гусениц. Элементарная вещь, а способна увеличить срок эксплуатации гусениц в два с половиной раза, сэкономить сотни тонн легированной стали.

Направил описание и чертежи в Госкомитет по делам открытий и изобретений. Ох как трудно человеку из деревни, беспартийному, с фээзушным дипломом сквозь бюрократические заслоны пробиться. Сколько лет прошло, чтобы мое предложение признали изобретением. Но ведь изобретение еще нужно внедрить.

Тракторные заводы от меня как черт от ладана отмахиваются: для нас твое изобретение — позор, вот если бы ты в нашем КБ работал, тогда бы и нам слава.

Разработал еще станок для изготовления стружки. На заводах по производству цементно-стружечных плит ему цены бы не было: один заменит несколько технологических линий. Опять никому мой труд не нужен.

Почему у нас большой износ двигателей, почему падают самолеты? Потому что очень большая вибрация. Я разработал конструкцию оппозитно-синхронного дизельного двигателя, и снова все словно в трясину кануло.

Каюсь, было время, когда, отчаявшись, решил выехать за границу. Первым делом в райком потащили: «В Штатах ты по помойкам находишься!»

«Это меня здесь на помойку выбросили! Вы же сами таланты гоните из страны», — отвечаю. И в Штаты не уехал, и здесь никакой жизни. Ушел в егеря, в лесах успокоение нашел. Но изобретательства не оставил.

Зерно за границей покупаем, а свое в поле остается. Комбайны наши настолько несовершенны, что половину зерна теряют. Академия Тимирязева уже полвека разрабатывает конструкцию комбайна, способного при уборке урожая не травмировать семенное элитное зерно.

Я тоже в своей Горке параллельно над этой проблемой трудился и разработал конструкцию комбайна «Русь», способного убирать урожай до 90 центнеров с гекта-

ра без потерь и не травмировать при этом зерно. Приоритет изобретения установлен Роспатентом 12.05.92 года, принято решение о присвоении патента на изобретение и только...

Печально, но авторские права этот патент защищает только в самой России, а за ее пределами идеями российских умов может воспользоваться любой бесплатно. Тем более что в России они не востребованы...

Так уж вышло, что за свои изобретения, а их у меня запатентовано около двадцати, я денег никогда не получал. Кто-то, может, и пользовался ими, получал выгоду. Но я об этом не тужу. Ибо в Библии сказано: «Если тебе дано делать добро, и не делаешь добра, — грех».

Возвращаясь из Горки, остановились в Браткове — на высоком холме все еще горделиво возвышались остатки замка графа Эндеурова, бывшего некогда предводителем вологодского дворянства. Богато жил барин. Рассказывали старики, что была у него коллекция ценных картин, водилось золотишко и драгоценности. Рядом с замком был разбит парк-дендрарий, с системой прудов полных рыбы. Рядом с замком — церковь, цепляя крестом облака. После революции граф спешно бежал. Имение его растащили, пруды спустили, рыбу съели, церковь разрушили. Но вот драгоценностей, рассказывают, так и не нашли. Сколько раз за эти восемьдесят лет подвыпившие мужики, вооружившись ломами, простукивали стены замка и его сводчатые подвалы, пытаясь найти запрятанное графом богатство, искали потайные комнаты и подземные ходы, но клад так и не открылся.

...На припеке у стены старого замка сидели местные мужики, вооруженные лопатами и топорами. Выпивали.

— А зарплаты с июня в совхозе не давали. Денег нет и работы тоже. Похоронили вчера бабушку одну, дали по полсотне на нос, затарились вот, — кивнули они на поллитру, — пошли клад искать.

— Неужели верите в клад? — спросил я.

— Как не верить. Не одни мы ищем. Были ученые, и начальство большое приезжало. Тут, говорят, он. Найти только надо.

Мужики пропустили по стакану, и в глазах у них появился блеск перспективы.

— Главное, верить надо. И искать. Тогда он непременно откроется.



С трубой, но без дыма

Перед самой Великой Отечественной войной правительство наше объявило конкурс на лучшую экономную печь. Оно и понятно: почти вся Россия дровами отапливалась, сколько леса в трубы вылетало!

В конкурсе том приняли участие самые видные умы России. Лучшие проекты были отобраны и сведены в книжку, но до воплощения их дело не дошло. Помешала война.

Рассказывали мне в этой связи такую историю. В конце сороковых вернулся один печник в родную деревню и попервости решил переложить старухе печь. Полез на чердак и нашел там изжелтевшую книжицу с неосуществленными проектами. Выбрал проект академика Грум-Гржимайло, специалиста в области черной металлургии. Уж больно звучная фамилия была у автора.

Печь сложил, обсушил, затопил. Старуха в печь чугуны поставила и корову доить пошла. Вернулась, сунулась к печи, а чугунов нет. Поплавились чугуны.

Признаюсь, я той истории поначалу не поверил, пока не встретился в Кириллове с грузчиком сельпо Спириным Александром Павловичем. Показал он мне печку собственной конструкции, в которой уж если горшки не поплавятся, то на следующий день можно пироги печь. Настолько удивительная у Спирина печь была, что если бы я ее собственными глазами не видел и всю руками не обшупал, то ни в жизнь не поверил бы.

Печь та топилась без дыма. Вовсе. И еще многое другое было в ней поразительно.

Несколько лет потратил Спирин, чтобы найти то самое решение, сделавшее простую печь-теплушку настоящим чудом. Печь эта требовала дров в несколько раз меньше, жару давала в несколько раз больше, а дыму не давала вообще. Температура горения была в ней такая, что топливо сгорало в ней без остатка.

Дело пахло авторским свидетельством на изобретение. Сколько печей, сколько котельных, сколько заводских труб могли бы перестать коптить наше небо, отравляя природу. Это сколько ж лесов можно было уберечь от топора, сколько сэкономить топлива?

Я сделал на вологодском областном радио передачу о Спирине и его чудесной печке. И тотчас со всех сторон посыпались отклики. Откликнулась и наука. Трое

ученых из Ярославского НИИ, занимавшегося проблемами теплоснабжения, попросили меня свести их со Спириным.

Александр Павлович принял науку ласково, дал осмотреть печь, затопил ее. Ученые полезли на крышу. Дым из трубы не шел. Только едва теплый воздух поднимался вверх. Обследовали подвал, топку.. Выпили бутылку водки, снова полезли и на крышу, и в подвал.

Спирин предлагал: «Помогите оформить заявку на авторское свидетельство, беру вас в соавторы...» Наука колебалась. Выпито было три бутылки, а секрет печи так и не разгадан.

– Не верим, – твердили ученые умы. – Скажи, дед, куда дым деваешь?

И до самой Вологды повторяли одно: «Быть того не может...»

Позднее я хотел сделать о Спирине и его печах документальный фильм, но не успел. Мастер умер. И вместе с ним ушел, казалось бы, секрет, удивительных чудопечей. Но я ошибался. И какова была моя радость, когда встретился с сыном Спирина и узнал, что секрет не утрачен, а конструкция бездымных печей усовершенствована младшим Спириным.

Александр Александрович Спирин – фермер. У него огромный в сто пятьдесят квадратных метров дом о шести комнатах. Весь он отапливается одной маленькой печкой, которая к тому же находится в подвале.

Даже в самые лютые морозы в доме стоит жара. Кроме того, печь дает и горячую воду на хозяйственные нужды. А угля она потребляет до смешного мало, топится бездымно, полностью поглощая тепло горящего топлива. Александр Александрович говорит, что такая печь способна отапливать помещение в триста квадратных метров, если дом будет в двух уровнях.

Однажды зимой Александр устроился подработать кочегаром в районную больницу. Там было два котла, топились они плохо, угля сжигали много, температура же воды на выходе была всего около пятидесяти градусов, в корпусах больницы стоял промозглый холод. Спирин по ходу дела провел маленькое переустройство топок, и они загудели на всю мощь. Тут же температура воды поднялась до 90 градусов, а расход угля сократился вдвое.

Приходило к Спирину начальство, удивлялось, хвалило, обещало на все лето дать ему работу по переоборудованию котельных города к будущей зиме. Но дальше слов дело не пошло.

Неужели всех русских самородков ожидает судьба несчастного Левши, молившего перед кончиной: «Скажите государю, ружья кирпичом чистить нельзя...»

Услышат ли эту мольбу нынешние русские государи?

«Каракатица» против джипа

А самолет летит,
Крылом колых, колых,
Европа хитрая,
А мы хитрее их...

Что поделаешь, если бездорожица по-прежнему остается неотъемлемой частью российской действительности?

На Вологодчине есть и по сей день такие населенные пункты, куда вовсе нет дорог. Один лес да болота. Например, деревня Согорки находится за шестьдесят пять километров от твердой дороги, а поселок Дружба — за сто... Только худенькая узкоколейка да маленький локомотивчик, который то и дело заваливается под откос, раз в неделю связывают их с миром.

А случись беда?

А сколько богатств всевозможных запрятано в бездонных кладовых природы, а добраться до них нет никакой возможности. Например, есть у нас такое болото — Великая Чисть. Тянется оно вдоль Сухоны километров на шестьдесят, а в глубь, в котломские урочища, тянется еще дальше! На большей части его и по сей день нога человека не ступала.

В Сямженском районе есть другое болото — Шиченьгское. Оно не столь масштабно, но и его просторов человеку не одолеть. 140 квадратных километров. Клюквы, брусники, черники, морошки родится здесь иной год столько, что кочек под ягодами не видно. Полчаса и — ведро. Два-три часа и — мешок. А попробуй-ка вынеси!

А еще в болоте озеро есть рыбное, говорят, во время нереста рыбы тут столько, что поставь весло, стоять будет, а дичи вокруг озера — утки да гуси небо застыт, а любопытные глухари сами в котелок заглядывают... Не верите? А вот проверить вам вряд ли удастся. Сил не хватит.

Местные же мужики живут с рыбой и ягодами, с грибами и дичью. И себе, и на продажу хватает. И бездорожье им, распутица, болотные топи и речные разливы — все нипочем. Потому как действуют по пословице: «Голь на выдумки хитра».

Промышленный вездеход или тот же «Буран» народу сельскому не по карману. И народ по-своему решает серьезнейшую проблему создания вседорожной техники, которая, уверен, даст сто очков вперед профессиональной, созданной в конструкторских бюро и построенной на промышленных гигантах.

То, что в Сямже, маленьком районном селе, что находится в 110 километрах на север от Вологды, есть свое самодеятельное конструкторское гнездо, было известно давно. Потому я и отправился туда, надеясь реализовать давнюю свою мечту — устроить гонки на самодельной вездеходной технике. Этакое «Сямженское сафари». И не ошибся.

С заместителем главы района Валентином Федоровичем Клоповым мы насчитали только в самом райцентре более двадцати таких самодеятельных конструкторов. А сколько их, создающих свою технику, живет по деревням?

Каких только конструкций ни увидел я, занимаясь подготовкой этого праздника самодельщиков. Каракатицы, драндулеты, костотрясы — так называют их сами конструкторы — поразили мое воображение.

Главным конструктором «Сямженского КБ» считается Вениамин Муравьев, водитель местного ДРСУ, той самой организации, которая отвечает за состояние внутрирайонных дорог. Рыбак, любитель леса и техники, Муравьев много лет назад, видимо, не надеясь, что хорошие дороги дойдут до его любимых мест, начал конструировать собственный вездорожник, используя в качестве колес... бочки из-под соляры. Вездеход удался, но уж больно грохотали бочки на ходу... Потом Вениамину пришла идея сделать вездеход на пневмоколесах. Она оказалась заразной, и сямженские изобретатели создали массу всевозможных конструкций, используя маломощные двигатели от списанных мотоколясок. Эти вездеходы имели сначала по три колеса, потом четыре, а затем уже по два ведущих моста, разламывающуюся раму, придающую машине высокую маневренность.

Сямженские самодельщики додумались, как сделать камерные пневмоколеса неуязвимыми. Они вынимают из покрышек стальную проволоку, затем топорами, ножами стесывают покрышки до корда, оставляя на покрышке лишь часть протектора для лучшего сцепления с дорогой. Такое колесо уже не лопнет, напорвшись в лесу на острый сучок.

С помощью системы реверса сямженские Кулибины сделали свои машины и трактора восьми-, двенадцати-, шестнадцати- и даже двадцативосьмискоростными... Причем такой агрегат может тащить большой груз, двигаться так же быстро и маневренно назад, преодолевать практически любые препятствия.

Посреди села Сямжи течет в крутых берегах быстрая речка Сямжена. Настолько быстрая, что местами не замерзает даже в самые лютые морозы.

Я спросил одного из самодеятельных конструкторов Анатолия Хватова, инспектора пожарного надзора, смог бы его агрегат спуститься в реку, преодолеть льды и промоины и снова выбраться на дорогу?

Хватов не моргнув глазом завел свою «каракатицу». Через минуту, взломав на реке лед, его вездеход уже уверенно плыл черным студеным омутом, а потом стал карабкаться на обледенелый крутой берег. Я подумал тогда, что на беду загнал мужика в реку, где дважды два лишиться можно не только машины, но и самой жизни, что нужно срочно искать трактор с тросом... Но опасения мои оказались напрасными. Скоро Хватов со своим агрегатом был уже на дороге.

— Это еще что! — гордо заметил заместитель главы Клопов. — Вот если бы видели, как по весне мы машин в десять форсируем вышедшие из берегов реки, идем ледяными болотами и плывем озерами, вот тогда вы бы в полной мере оценили мастерство наших умельцев.

Сам Клопов тоже имеет подобный агрегат конструкции Муравьева, но только о трех колесах.

У Александра Кустова, кочегара местного АТП, «каракатица» имеет два ведущих моста, «ломающуюся» раму, как у трактора «Кировца», оборудована магнитолой, печкой с трубой и спальным местом. Может обитать хоть на льду, хоть на воде, рыбу можно ловить прямо с борта, подкидывая дровишки в печку. Способна преодолевать большие расстояния по болотам, мелколесью, снежной целине. А также пахать, боронить, окучивать, косить траву, перевозить тяжести. Сам Кустов известный на всю округу печник. А в печном деле самое трудное — глину месить. Так он к этому занятию свою «каракатицу» приспособил. Одного только не может его агрегат — жену заменить...

Токарь Алексей Зобнин на своем «драндулете» не только справляет на огороде самые трудоемкие операции, таскает из лесу дрова, но прошлой осенью заготовил на болоте 23 мешка клюквы. На клюкву одежду справил, квартиру отремонтировал и еще холодильник купил.

Огромное количество самодельных тракторов повстречал я в Сямже и Сямженском районе. Собранные в буквальном смысле из металлолома, они верно служат хозяевам десятки лет.

...3 февраля, в день, на который были назначены парад и гонки самодельной техники в Сямже, ударили морозы. Термометр падал к тридцатиградусной отметке. Из заявившихся тридцати самодельщиков на стадион прибыли только двадцать. Но были участники из соседнего Харовского района, из Вологодского, приехали почти за триста километров череповчане — народ, по жизни связанный с металлом. Ехали они уверенные в своей победе.

В гонках собирались принять участие и признанные вездеходы — «уазики», «Нивы», причем с «Автоваза» прибыли две суперсовременные экспериментальные «Нивы», которые должны были проявить свои вездеходные качества в соперничестве с самодельными вседорожниками.

А из деревни Усть-река притрусил за пятнадцать километров Николай Шебалдин на своем верном карьке.

— Уж мою-то четвероногую «технику», — заявил он членам жюри, — не объехать не обойти! Экологически чистая, безотходная, вседорожная.

И члены жюри выдали ему номер участника.

Но сначала был парад и демонстрация возможностей представленной техники. Впереди колонны восседал на своем «костотрясе» в нагольном полушубке, больших валенках, похожий на Илью Муромца Валентин Клопов, заместитель главы Сямженской районной администрации. Первый конструктор Муравьев ехал на своем универсальном самодельном тракторе, его сын Александр — на огромном четырехколесном болотоходе, Александр Кустов сидел на своей дымящей трубой «каракатице», словно Емеля на печи, ехали с балалайками и гармошками, группами поддержки и впереди летела по дорожке стадиона радостная вереница собак...

А потом были испытания. Кустов поставил управление своего агрегата на автомат, и под визг слабонервных дам ложился под огромные колеса болотохода, и тут же, отряхнув снег, ложился снова, ездил на нем задом и разворачивался практически на месте. Алексей Зобнин на санном прицепе возил «драндулетом» целый класс радостных школьников, а Николай Шебалдин на четырехногом карем «вездеходе» штурмовал снежную целину.

Вслед за карьком ринулись на штурм снегов «уазик», «Нивы» и даже те две суперсовременные экспериментальные, но все они, не пройдя и двадцати метров, дружно встали. Пришлось звать на помощь зрителей и под восторженный гам признанные вездеходы были спасены из снежного плена.

А впереди ждало самодельных конструкторов главное испытание: гонки по пересеченной местности, по нетронутым, глубоким снегам. Волновались. Трасса была незнакомая, только-только перед соревнованиями намеченная.

И вот старт! Сверкая фарами, окутывая ложины дымом и треском, рванулась вперед родимая, из металлолома собранная, многострадальная, незаменимая, универсальная, болотница и огородница, работница, мужику пособница...

В первые же минуты вперед вырвался череповчанин Голиков, но уже через некоторое время он потерял первенство. Вперед, почти догоняя «Бураны» с телеоператорами, вырвался конструктор из Сямжи Николай Пантин. Но и он не долго был в лидерах. На первом крутом подъеме все смешалось. Порой казалось, что перед нами панорама величественного танкового сражения времен второй мировой. А впереди были новые головокружительные, практически неприступные подъемы по снежной целине.



И, казалось бы, безнадежно отставший Пантин вновь вышел вперед. Он первым взял подъем, выскочил на трассу, но произошло необъяснимое. Наш герой развернул машину и стремительно врезался в мелколесье, подминая его колесами, видимо, пытаясь сократить путь... А тем временем его опередили многие.

...Финишная прямая. Вот-вот должна показаться машина Вениамина Муравьева, ведомая его сыном Александром. Именно он первым вырвался из снежного плена и вышел на ровное место. И тут публика ахнула: первым летел болотоход Виктора Карпова. Муравьев изо всех сил пытался его достать на последних метрах. Но тщетно.

Третьим финишировал знакомый нам Александр Кустов на вездеходе с печкой. А четвертым, проломивший все же мелколесье, был Александр Пантин. Череповецкий же конструктор Голиков, грозившийся победить всех, был всего лишь шестым.

По-настоящему не повезло на этих гонках лишь сямженцу Александру Новикову, которому пришлось ремонтировать свой вездеход прямо на трассе. Все остальные успешно преодолели сложнейшую трассу и пришли к финишу без потерь, подтвердив еще раз, что русский мужик чрезвычайно талантлив, технически смекалист и находчив.

...Как-то путешествовал я по Европе с немецким товарищем на его автомобиле. На заправочной станции увидели мы водителя, который безуспешно пытался найти отвертку у своих коллег, чтобы подкрутить какой-то незначительный болт. Пришлось вызывать машину со станции техобслуживания.

И я подумал, что было бы, если бы этот немец оказался вдруг на нашем проселке... На российских дорогах мало знать правила, мало умения крутить баранку, разбираться в устройстве автомобиля и обладать слесарскими навыками, мало знать психологию работников ГИБДД и уметь уходить от бандитов – на наших дорогах ты должен быть еще непременно и конструктором.

Однажды на озере Кубенском встретил я странное сооружение, не похожее ни на одно из виденных мною транспортных средств. Хозяин его Сергей Лешуков рассказал, что рама его агрегата взята от трактора Т-25, коробка передач – от ГАЗ-53, редуктор – от электрокара, мотор – от компрессора доильной установки, а вот колеса были от... самолета ЯК-40.

Собранное все вместе и составляло это транспортное средство, которое бойко катило по снежной глади Кубенского озера. Оно напомнило мне нашу многоукладную экономику, но в отличие от лешуковского агрегата экономика наша бежать не желает. Наверное, стоит приделать ей еще и колеса народной инициативы? Тогда где были бы эти немцы, у которых даже отверток нет...

А самолет летит,
Крылом колых, колых...
Европа хитрая,
А мы хитрее их.

А мы хитрее их,
Мы не проشياпили:
Из инвалидки мы
«лендровер» сляпали.

Ну не «лендровер» пусть,
А «каракатицу»:
И лесом бегает,
Болотом катится,

И задом пятится,
И в речке рыбкою,
Муравьев на ней
Сидит с улыбкою.

Сидит с улыбкою
Да ухмыляется...
Поди лететь на ней
Да собирается...

Болотоход летит,
Крылами хлопает,
В нем мужики сидят,
Картошку лопают...

Элементарно

На старом причале маленького городка Сортавалы, где под навесом в ожидании судна на Валаам прятались паломники и монахи, нетрезвый парень в сварной робе с газовым резаком в руках соорудил какой-то диковинный механизм из металлических труб, отдаленно напоминавший большой самогонный аппарат. Увидев нас, он оживился:

— Слышь, кенты, сбегайте за поллитрой! — предложил нам простецки.

— Нет уж, ты сам как-нибудь, — отказались мы.

— Да некогда мне: вишь, вечный двигатель собираю, к концу недели запускать надо. А без поллитры какая работа?!

Мы посмеялись, но в это время на причале появился дядя в защитной робе и обрушил на похмельного сварного поток нелестных эпитетов.

— Ты, Серега, соображаешь хоть, какая роль тебе отведена? Завтра ты, может, на весь мир прославишься! Не каждый день в Сортавале вечные двигатели запускают. Работай!

Мы познакомились. Станислав Викторович Зарубин оказался самым настоящим конструктором вечных двигателей. В визитной карточке обозначена его фирма — «Установки Зарубина».

— Тот, кто утверждает, что вечный двигатель невозможен, — элементарный невежда, — убежденно заявил нам Зарубин. — Моя конструкция проста. Десятиметровая труба большого диаметра устанавливается вертикально: столб воды, находящийся в ней, начинает движение и создает в трубе разрежение. А через эти малые трубы вода будет засасываться, то есть возникает постоянный круговорот воды. С помощью особых разгонных турбин моей конструкции та малая энергия воды, которая при этом будет возникать, превратится в тысячекрат большую энергию. Одной такой установки достаточно будет, чтобы снабдить электричеством целый остров Валаам. А это примерно два мегаватта! Мы потрясенно молчали.

— Не верите? — усмехнулся снисходительно конструктор вечного двигателя. — В мэрии поначалу тоже не верили. Как же так, говорят, Станислав, всем известно, что вечный двигатель антинаучен. Вот если принесешь патент на его изобретение, дадим денег на опытную установку. Пришлось патент выправлять.

— Дали патент? — поразились мы.

— А куда ж они денутся! У меня все научно обосновано, — засмеялся будущий лауреат Нобелевской премии. — Оставайтесь денюга на два — увидите сами. Если дождь не помешает да сварные не запыют... Ну, вы меня извините, спешу, — протянул он руку. — Дел много. На днях вылетаю в Грузию, нечто подобное по соглашению с Шеварднадзе буду в горах устанавливать...

Мы остались на причале. Накрапывал дождь, бесконечный и нудный. Теплоход на Валаам задерживался. Сварной Серега, проклиная погоду, обреченно гнул железные трубы.

— Ты сам-то хоть веришь, что эта самогонная конструкция заработает? — не переставая удивляться, спросил я.

— Зарботает, — недовольно, но уверенно отвечал Серега. — Вы еще не знаете Зарубина, пробивной — как танк. У него не может не заработать. У него даже я работаю...

Через два дня, возвращаясь с Валаама, мы нашли на причале все того же Серегу и конструктора. Вечный двигатель, словно ракета, устремлял свое железное жерло в хмурые небеса.

— Когда запускаетесь? — полюбопытствовали мы.

— Завтра вечером, — твердо отвечал конструктор.

К сожалению, нас ждала дорога. Но мы не раз по пути звонили в Сортавалу: пуск вечного двигателя день за днем откладывался. То ли в Сортвале шли дожди, то ли запил сварной Серега.

Спустя год мне сообщили: в Сортвале на установке Зарубина получен постоянный ток воды. Хотите — верьте, нет — проверьте...

Кузнец Дитятьев

Не нами сказано, что каждый человек на земле сам кузнец своего счастья. Видимо, так оно и есть. Манны небесной нам ждать не приходится.

Николай Дитятьев считается одним из лучших кузнецов в России. Предки его были мельниками. Старики до сих пор помнят его отца Гордея Дитятьева.

Тот способен был в одиночку поставить водяную мельницу. А как он работал!

Вставал затемно, пил крепкий чай и при свете керосинового фонаря начинал свои труды. То, что один Гордей Дитятьев мог за день свернуть, трем-четырем здоровым мужикам не управить было.

Николай Гордеевич предков своих ни в чем не посрамил. Чего только не могут его руки и голова, в первую очередь! И крест многометровый в железном кружеве сковать и поднять на церковь, и вездеход собственной конструкции собрать, создать свой инструмент для кузни, с помощью которого за семерых можно управляться! А то возьмет и выкует диковинной красоты железную розу. Чем не Данила мастер! А как поет в его руках гармонь или баян! Он и тракторист, и механик, столяр и плотник.

Вот уже несколько лет прошло, как он стал кузнецом вольным, сумел разорвать крепостнические цепи, выкупил молот, наковальню, мастерскую и начал работать на себя, а не на семерых с портфелями и ложками.

Сегодня старинный город Тотьма постепенно одевается в кружевной железный наряд, кованный руками Дитятьева. Есть у Николая и признание, и авторитет, есть небогатый, но достаток в доме.

Но все же мятется душа мастера, страдает. Не за себя болит, за народ наш, который крепостных пут разорвать не в силах.

Каждый человек — кузнец своего счастья, но каждый ли может быть кузнецом? Вот в чем вопрос. И еще: может ли человек счастлив быть в одиночку?

Поэзия глиняного горшка

В руках мастера самый обыкновенный глиняный горшок поет. Да еще как мелодично! Настоящий колокол, не гляди, что всего-навсего глина. В мастерской у череповецкого гончара Сергея Феньвешти каких только горшков нет, какой только звон не рождают они, щелкни лишь легонько по тонкой, подобной нежному фарфору стенке горшка.

Большое искусство требуется, чтобы из-под рук твоих с гончарного круга выходили такие звонкоголосые изделия. Большая душа!

С детских лет всем сердцем полюбил Сергей вологодские края, вологодский народ с его певучим говором и щедрой, нескаредной душой. Он родился и вырос в Румынии, а лет тринадцати попал в Россию, в дымный город металлургов, где день и ночь в домнах и мартенах, словно в огромных горшках, варятся чугуны и сталь.

Но Сергей не стал металлургом, увлекли его этнографические экспедиции по деревням. Много секретов непростого гончарного промысла собрал и освоил он, а вместе с ними песен и сказок, легенд и преданий Севера, без которых, кажется, были бы горшки Сергеевы немые.

Он восстановил, например, секрет изготовления чернолощенных гончарных изделий, невероятно красивых, которые, взяв в руки, трудно уже выпустить. И секретов тех за семью замками Сергей не держит. Если есть желание, если лежит к гончарному делу душа — приходи и учись, осваивай ремесло, неси людям звонкую радость.

...Пока Сергей показывал нам свою мастерскую, пока любовались мы его мелодичными творениями, в муфельной печи в чернолощеном горшочке поспевало угощение: цыпленок в собственном соку. Признаться, ничего вкуснее мы не пробовали. Цыпленка съели — не заметили, и навар хлебным мякишем вымакали так, что даже мыть горшок не пришлось. Наверное, угощение было приготовлено с особым душевным словом. Как и сам горшок.

Дед Генаша и его «Зингер»

Дед Генаша освоил портняжное ремесло с юных лет. Чего только не перешил он за эти годы. И шуб, и пальто, и костюмов, и шинелей, и плащ-палаток, и вещмешков солдатских... Но главной его специализацией и по сей день остаются кепки восьмиклинки. Мода на них одно время большая была. Бывало, зайдешь в дом к деду Генаше – будто со всей округи мужики в дом собрались. Восьмиклинки – по стенам на каждом гвозде, восьмиклинки – на столе, на шкафу, на кровати, под кроватью на деревянных колодках... И сегодня нет-нет да и закажет деду какой-нибудь старичок, верный моде своего времени, восьмиклинку. То-то любо старому мастеру. Раздвинет на столе выкройку и на глаз вычертит обмылком будущую кепку... Всю жизнь работал Геннадий Дмитриевич Синицин не разгибаясь. И в мастерской, и дома, и в будни, и в праздники, и в выходные и проходные с утра и до позднего вечера стучала его зингеровская машина – верная помощница и спасительница. Шутка ли, девятерых детей подняли они с женой, всех к делу приставили. Все семьями своими живут. В праздники, как половодье, прибывают в дом дедов сыновья и дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки, племянники с племянницами, с женами и мужьями, со своими детками – уже пра-пра... В доме в эту пору ни пройти, ни повернуться. Но всем здесь удивительно хорошо.

Девяносто лет деду. Зингеровской машине и того боле. Но и по сей день стучит она, не в силах унять когда-то сообщенной ей инерции.

Восставшая из пепла

В тридцатых деревню Нокшино раскулачили. Из четырнадцати хозяйств ее тринадцать были раззорены, а хозяева отправлены по лагерям или просто по свету белому.

Я много раз бывал в тех краях. Это от Чебсарских Крестов по старому череповецкому тракту километров семь до отворотки на село Любомирово, не доезжая его надо свернуть на Думино и — к самым лесам, из которых вытекает светло речка Угла.

В прежние времена звали это место «золотым дном» и еще Украиной. Потому что поля здесь были просторные, земля плодородная, а урожай — всем соседям на зависть.

В наши дни почти не осталось следов от прошедших здесь прежних крестьянских поколений. По зарастающей лесом дороге попадешь в такие грибные места, где белые в хорошие годы растут стеной.

Благодатна здешняя земля. А судьба крестьян, растривших на ней хлеб, — трагична.

Евдокия Васильевна Панова, когда раскулачивали ее родную деревню, была уже невестой на выданье. И эта трагедия настолько врезалась в ее сознание, что пронесла она эту боль и печаль через всю свою долгую жизнь.

Частенько сиживал я в ее домике в маленьком пристанционном поселке Чебсара, где живет народ не крестьянин и не пролетарий, кормящийся после новых реформ и потрясений больше своим огородом да лесом. Бабушка Евдокия постукивала на деревянных кроснах бердом, набирая невиданной красоты половики, пела старинные протяжные песни или частушки той, коллективизационной поры:

До свиданья, до свиданья,
Вот и до свиданьица.
Не бывало у меня
Такого расставаньица

Расставались с любимым дролей
В это воскресеньице.

Ему назначено в колхоз,
А мне... на выселеньице.

Рассказывала, что она, после того как изгнали ее семью из Нокшина, как разорили родное гнездовье, сорок лет не пела. А была прежде знатной певуньей. Сорок лет молчала в душе ее музыка. И только в восьмидесятых вновь запела.

А еще открылся у нее великий талант ткачества, и с кросен ее стали выходить невиданные половики — картины прежней жизни: и темный лес, и санная дорога, и свадебный поезд, и деревенька Нокшино — все четырнадцать домов. А одна изба распахнута, и веселое гулянье идет в избе.

Или сенокосная картина. Знойный июль, густое многоцветье трав, веселые покосники, метающие стога...

Но вот половики, рассказывающий о трагедии деревни Нокшино, а если брать глубже, то и всей России. Деревню раскулачивал человек, живший в той же деревне. Его дом и остался нетронутым, поскольку хозяйство этого человека было самым непутевым, а у самого к земле радения не было. Зато экспроприацию он провел решительно, а слезы и горе односельчан только услаждали его слух.

— Был еще учитель в помощниках у него по раскулачиванию, — вспоминала Евдокия Васильевна. — У того нервы не выдержали, совесть замучила — застрелился в чужом гуменнике.

Имущество, землю и скот раскулаченной деревни передали в колхоз. Только не было уже на этой земле ни прежних урожаев, стоящих тучной стеной, ни веселых деревенских праздников.

Равнодушие и пьянство съело за пару лет все, что создавалось трудами не одного поколения нокшинских крестьян.

Покидая тогда не по воле родную деревню, дала Дуняша обет донести правду о том времени хотя бы внукам своим. И эта домотканая правда Евдокии Васильевны не осталась незамеченной. Ее половики-картины, явившиеся своеобразной энциклопедией крестьянской жизни, стали появляться на выставках в Череповце, в Вологде, в Москве... Маститые искусствоведы, художники, писатели посещали ее скромный домик, умоляя продать или подарить что-либо из ее творений.

Она дарила, иногда продавала, но цены своим трудам не знала, и чудо-половики, которым сегодня цены нет, уходили в буквальном смысле за копейки.

Уже несколько лет прошло, как Евдокии Васильевны не стало. Но творчество ее, хранящееся в музеях Вологды, Череповца, Шексны, продолжает нести правду о России, поражая высоким искусством и чувством гармонии, жившей в простой неученой крестьянке.

В восемьдесят седьмом работали мы с режиссером Сашей Сидельниковым над большим фильмом о судьбе российского крестьянства, приезжали в Чебсару к Пановой, снимали и ее за кроснами, и ее чудо-половики, писали ее рассказ о деревне

Нокшино. И подумал я тогда, что как бы не заливали асфальтом землю, какими бы тяжелыми катками не прокатывались по ней, а вот сила, казалось бы, слабого ростка, напоенного земными соками, способна взломать этот каменный мертвый панцирь и выйти к свету. Такова и народная душа.

А искусство ткачества Евдокия Васильевна передала своей дочери: в городской квартире дымного города Череповца стучат ее старинные деревянные кросна.

Трудное для творчества и сегодня время. Мятеся и скорбит душа. Но все же, кажется мне, что звон серебра и золота не сможет заглушить народной песни о красоте поднебесного мира. И хочется верить, что вернется к жизни уже в новых поколениях деревенька Нокшино, как та самая былинная птица, восставшая из пепла.





Народный Корбаков

— Когда я надеваю свои рабочие штаны, настроение у меня поднимается, — Корбаков, тихо радуясь, натягивает на себя заляпанные краской брюки.

Наверное, если эти штаны натянуть на подрамник и вставить в багет, то они пользовались бы на выставках не меньшей популярностью, чем самые знаменитые картины Корбакова.

А шляпа! Это не просто головной убор с порванными полями, а самая настоящая палитра ищущего, дерзающего художника. Шляпа тоже просится в багет!

Но штанам и шляпе пока еще рано украшать выставочные залы. Они на службе самого мастера. Они — рабочий костюм и инструмент одновременно. Они тоже создают ему творческое настроение и помогают творить шедевры.

Народный художник Владимир Николаевич Корбаков, член-корреспондент Российской Академии художеств, гордость вологодской культуры, не смотря на свои почти полные восемьдесят лет, в отличной творческой форме. Мы с ним давние друзья, и на правах товарища я частенько сижу у Корбакова за вечерним чаем, беседуя о политике и погоде, о великих художниках и талантах из народа, о смысле жизни и любви.

Я уезжаю, а художник остается на «часок поработать». На мольберте большая незаконченная картина. В обед следующего дня снова приводит меня путь в мастерскую Корбакова — на мольберте уже практически законченная... новая работа. Новый шедевр, которому, может быть, скоро уже суждено стать бесценным достоянием народа.

Да, именно достоянием народа, потому что в центре Вологды строится Дом Корбакова. Но не роскошные апартаменты, бассейны и джакузи для отдыха и услаждения тела будут в нем. Это будет картинная галерея художника из сотен и сотен полотен, среди которых когда-нибудь отыщется место и для корбаковской шляпы.

Родом Владимир Николаевич из деревни Казарино Сокольского района. Папа его служил на флоте, в революционную пору выдвинулся и был назначен управляющим банка в Вологде.

Была морозная зима. Дров не хватало. Отец носил из банка пухлые пачки аннулированных царских ассигнаций и бросал их в прожорливое печное брюхо.

Потом пришли весна и лето. По улице везли в телеге голую женщину с плакатом «Долой стыд!». Потом приехал цирк, и по улицам водили слона, а впереди бежали веселые клоуны. Жизнь, похоже, стала налаживаться.

Потом была война. И были перепаханые снарядами и минами поля, по которым юный Корбаков ходил на врага в атаку. Но даже в минуты смертельной опасности он верил, что не его судьба — пасть на этих полях, что у него есть иное предназначение, предназначение художника, который в красках должен повторить величие и красоту мира, красоту человека и человеческой души...

Контуженный, с перебитыми костями правой руки, которой и создал он все свои творения, он вернулся в Вологду и заложил здесь основу будущего Вологодского Союза художников. Сегодня в этой известной на всю страну организации более сотни членов. Но нет среди них более трудоспособного, более плодовитого и целеустремленного, чем Корбаков.

— Откуда силы черпашь, дорогой Владимир Николаевич? — спрашиваю я, увидев очередное, только что законченное творение на мольберте.

Он тихо смеется:

— А силы дает мне любовь. Любовь к женщине, любовь к природе, человечеству... К самой жизни.

И он снова с удовольствием влезает в свои знаменитые, заляпаные до последней нитки штаны...



Прялкина душа

Семь топоров вместе лежат, а две прялки — врозь! — говаривали в старопрежние времена. Это о том, что семь мужиков способны к артельной работе, а женщины — натуры индивидуальные.

А раз так, то каждой нужна своя, особая прялка. Потому-то и повелось, что двух одинаковых прялок у нас на Севере не сыскать.

Прялка — не просто инструмент. В этом нехитром приспособлении живет душа, живут легенды и целая народная философия.

Мастер, получивший заказ на прялку, шел в лес, выбирая для заготовки дерева особый срок. Выбирал самую большую, самую лучшую ель, чтобы корни у нее были мощные, широкие, затем нужно было произнести особое заклинание, подрубая их, чтобы душа дерева не умерла, а переселилась в будущую прялку, чтобы в дальнейшем все крестьянские труды были сопряжены с законами и ритмами природы.

Из корня дерева тесалось донце, ствол превращался в лебединую шею с лопастью на конце. А уж потом на лопасть наносил мастер рисунок, резьбу или инкрустацию. Все зависело от принятых в этой местности традиций.

Например, вихревая розетка означала солнце, прямая линия — гром, косые насечки — дождь, пересекающиеся линии — пашню. По углам лопасти чаще всего изображались сегменты заштрихованные — это четыре времени года. Поэтому в народном понимании, из-под пальцев пряжи выходила не просто нить, а нить всей жизни.

Если на лопасти изображено дерево, это символ плодородия. Змейка с внутренней стороны прялки с насечками — количество детей у ее владелицы.

...В долгие зимние вечера собирались деревенские девушки с прялками в одной, коей попросторнее, избе и начиналось между ними состязание: кто больше нарядит и чья пряжа тоньше. К девицам на огонек приходили парни с гармошками и балалайками, приглядывая самую искусную и работающую, самую пригожую и звонко-голосую. И под треск березовой лучины сказывались сказки и побасенки, звенели частушки и долгие протяжные песни.

О многом способны рассказать любопытному и знающему глазу старые бабушкины прялки. Как-то работники Тотемского музея, собирая по деревням предметы крестьянского обихода, разговорились с одной бабушкой.

— Давно не бывали в Заозерье? — спрашивают старушку.

— Ой, девки, в Заозерье-то я уж полвека не была, а вы откуда знаете, что заозерская я?

— По твоей, бабушка, прялке.

...Есть в старинном городе Тотьме, что на Сухоне реке, уникальный музей открытого хранения фондов. Одних прялок там выставлено для поглядения пятьсот штук. Прялки медведевские, биряковские, никольские, усть-сысольские... Глянешь на эту красоту — и сердце радуется. Как же талантливы были наши предки, сумевшие даже такое скучное занятие — прядение — опозитизировать, превратить в настоящий праздник.

Пожарищенские посиделки

К вечеру вывездило, а ночью выстоялся такой мороз, что утром мы едва-едва оживили свои «Жигули». Звуки, казалось, не успевали вылететь изо рта, как тут же застывали, превращались в ледышки, со звоном падавшие на землю. Но все же мы выехали на трясовитый проселок и покатили в звенящей стыни в деревню Пожарища — песенный заповедник Вологодчины.

К полудню добрались, остановились на дороге, соскребли наледь с лобового стекла — видим: поднимается навстречу с подгорья бабуля. Вся в радужном морозном ореоле.

— Что за неволя вам в этакий мороз раскатывать? — говорит. — Шли бы вон в избу, чаем напою.

А за спиной у нее санки с двумя корзинами белья. В этакий мороз полоскать белье на реку ездила!

Мороз деревне забот прибавил. В печах три раза на дню дрова трещат. На дворах народ скотину от стужи спасает. Гостеприимная хозяйка наша, бабушка Саня Бритвина, додумалась у фуфайки рукава отрезать и в фуфайку козу нарядить. А козлят они с внуком Олегом в горницу притащили, поближе к печи поставили, молоком кипяченым отпаивали...

День в хлопотах сгорел, словно и не начинался. Но только россыпи звезд над деревней зажались, на огонек к бабе Сане товарки, из сундуков старинный наряд достав, уже поспешали, на спевку да на беседу.

Нас завидя, бабушки-товарки насторожились вдруг.

— Вы сами-то хоть русские будете? — спросили строго.

— Русские, — удивились мы вопросу. — А это значение имеет?

— Нам иностранцам-то песни запрещено петь.

— Это почему?

— А иностранцы у нас фольклор воруют!

— Морозят да в ящики пакуют?

— Нет. Они к нам летами наезжают, на магнитофоны записывают и за границей издают песни наши беспопылинно.

Тут внук бабы Сани Олег Коншин из-за ситцевой занавески явился в рубахе поясной, рассыпал звонкую скороговорку тальянки. Бабушка вынесла ковш с пивом ржаным солодовым, товарок обнесла, и полились старинные нюксенские песни:

Попей-ко, попей-ко,
На дне-то копейка.
Поболе попьешь,
Золотую найдешь!

— Ой, если бы не Олег, так не знаем, как бы топеря и жили! — переведя дух сказал кто-то.

— Уж Олегу-то сто раз надо в ноги поклониться! Уж думали все наши песни и обряды позабыты и не вернуться, а гли-ко ты, уж и молодежь втянулась: «Баушка, дай сарафана погулять»!

— Наш дед, Иван Патрикеевич, бывало, в лес поедет на лошаде. Воз накладет, усядет-ся и писню запевае. Пока лесом едет — поет, дорогой — поет, к дому подъезжает, у ворот встает — пока не допоет, с воза не слезет. Вот какие песни долгие были.

— Недавно был в деревне Криуле у Настасьи Арсентьевны Петуховой, — откликается Олег. — Той за девяносто. А прошлым летом сама серпом полгектара ячменя выжала, двух коров держит, в сенокос сама на стогу стоит, вершит-ся, а поет как! Голос, что у молодухи.

Удивительный человек этот Олег. Остался в деревне, живет у бабушки своей Александры Александровны, в коей души не част. От нее у Олега любовь к народной песне и обрядам. В хозяйстве умеет все: пироги печет, варит, половики ткет. Да какие! Лет с пятнадцати начал всерьез заниматься собиранием фольклора, обрядов и песен, в шестнадцать, уговорил бабуль надеть свои прежние наряды: сарафаны и кокошники, песни запеть. С тех пор пожарищенские песни на каких только фестивалях не звучали, какие подмостки не знали каблучков пожарищенских песенниц. А иностранцы со всех концов света в Пожарища едут песни послушать.

...Дела долго засиживаться не дают. Поднялась на ноги Афанасья Павловна Рябинина, певунья и плясунья:

— Все, девки, мне дак пора быка доить.

Грохнула деревенская беседа, Олег меха у тальянки передернул, и тут в отворенные двери вслед за товаркой выпорхнула с клубами пара частушка:

Все доила и доила,
Под быка уселася...
Черно-пестрая корова
Со смеху надселася...

И упала, звеня, на утоптанную тропку мороженая пожарищенская песня. Ну да к весне, Бог даст, оттаст.

В святки девки, парни, молодухи — все как один в гаданья ударились. И на расстанях гадали, и по баням, а интереснее всего гаданье на речке Норушке. В полночь ушли через снега на реку, из проруби камни доставали. Кто какой первым ухватит, такова будет его судьба. Олегу судьба не больно приглядная выпала. Камень хоть и невелик, но шадровит, да вроде как и с косиной. Бабушки ухлопотались.

— Ну-ко ты, красавцу нашему писаному — и экая зазуба. Клади на ночь камень под подушку да приговор скажи: «Ложусь на синеонских горах, на трех головах, первый видит, второй слышит, третий всю правду покажет. Коли к хорошему, снись хорошее, коли к худому — худое. Моим словам ключ — море, замок, ворота».

Положил Олег камень, приговор прочитал, а вот ничего не выснилось. Рано ему жениться, должно бы. И дел много.

Всю округу исколесил, у всех старух и стариков побывал, старинный свадебный обряд восстановил и в жизнь запустил. Теперь думает возродить старинный праздник Заболотского воскресения.

Была такая лесная деревенька когда-то. Красивая. В осиннике, сказывают, нашли икону чудотворную, там часовню заложили, из-под часовни источник целительный скоро забил, к которому и стар и млад припадал. А при советской власти часовню разрушили, вслед за ней и деревня захирела, остался в ней сегодня один житель.

На Заболотские воскресения собиралась прежде вся волость. Три старичка варили на всю округу обрядовую кашу. И народ спешил в маленькую деревеньку Заболотье отведать каши той, чтобы почувствовать себя единым, сильным, неразделенным народом.

Вот и Олег мечтает накормить заболотской кашей всю пожарищенскую округу. И точно, накормит. А хотелось, чтобы каши той отведала вся наша великая страна.

































По деревне шла и пела

Гостил в доме гармонного мастера Анатолия Золотова, наверное, последнего мастера некогда знаменитого кирилловского гармонного промысла. Анатолий Степанович в слесарском фартуке сидел за верстаком и мелким надфилем настраивал голоса.

— Динь, динь! – звенели голоса.

— Дон, дон! – вторила им за окном апрельская капель.

В окне синело подтаявшим льдом озеро Сиверское, над которым возвышались могучие стены Кирилло-Белозерского монастыря.

— В гармонии что главное? – рассуждал Золотов. — Нет, не строй, не разлив... Разливчик, конечно, хорошо, Чтобы не в чистую гармонь была настроена, а с разливчиком... Чтобы голоса с подголосками на четверть тона разницу имели...

Он брал в руки первую попавшуюся гармонь и пускал пальцы сверху вниз частым перебором.

— Во! Слышишь, у этой какой баской разлив?!

...Не хочешь, а заслушаешься золотовской игрой. И мастер прекрасный, и игрок первостатейный... Откинёт седую голову, левым глазом подмигнет – орел!

Хозяйка чашками позвякивает, на стол собирает.

— Гармониста любить,

Надо модною ходить...

— запел я под золотовскую игру частушку для хозяйки.

Реакция была мгновенной:

— Надо краситься и мазаться,

И брови подводить.

И дальше:

— Вот уж никогда не красилась! — хозяйка задористо подбоченилась.

— Что так?

— Аль не видно? И так хороша!

Отпили чаю, снова за гармонь принялись.

— Так вот я и говорю, — устраиваясь за верстаком, вернулся к прежней теме Золотов, — не разлив, не сами голоса в гармонии главное. Главное в гармонии — душа...

И стал разбирать гармонь по частям. Десять секунд — и нет гармонии: одни детали.

— Ну, и где тут душа? Нет души-то. Наверное, Степаныч, ты лукавишь, — приступил-ся я к Золотову.

— Нет, — упорствовал Золотов. — У гармониста игра от души. А я о гармонии. И не в строе дело.

Он опять схватил с полки гармонь, прошелся по кнопкам.

— Вот у этой душа есть! У этой есть, — достал вторую. Третью тут же опробовал. — А вот у этой нет души. Слышишь?

И ведь правда — не та малина! Все вроде бы при гармонии есть, а какая-то тусклая игра получается.

— И что? Ты сможешь этой гармонии душу дать? — удивился я. — Ежели и строй, и разлив тут ни при чем...

Золотов не ответил. Смотрел задумчиво в окошко, где синело Сиверское озеро, и возвышался над ним золотыми маковками церковью монастыря, да звенела апрельская капель.

...Разговор о гармонной душе зашел и на берегу Рыбинского водохранилища, где проходили съемки передачи о вологодских гармонистах. А съехалось их (самых лучших!) со всех уголков Вологодчины более полусотни. И каждый со своей неповторимой игрой и неповторимой гармошкой.

Какой праздник тут начался!

Геннадий Заволокин на Вологодской земле третью передачу делал, хорошо знает вологодских гармонистов и не раз повторял, что подобной игры нет более во всем мире. Более того, признавался, что даже сам не пытается повторить то, что творят на гармошках вологжане. Игра их, на первый взгляд, противоречит всем музыкальным нормам, но она прекрасна. И чего здесь больше — души ли гармониста или души самой гармонии, — так и не смогли ответить в тот вечер все пятьдесят два лучших вологодских гармониста.

Леонид Китаев, генеральный директор маслозавода из далекого Кичменгско-Городецкого района, потрясающий игрок, говорил так:

— Дома у меня были три гармонии и баян. Приду домой с работы — душа мается — гармонь сама в руки просится. Начну играть — на душе светлеет. Час играю, второй... Тут жена: «Надоел со своей гармошкой, шел бы в баню играть!» Чего делать? Иду в баню... А тут надо же — четвертую гармонь купил по случаю. Ничего в ней вроде бы особенного нет... А вот сколько бы на ней ни играл — жена терпит и в баню не отправляет... В чем тут дело, кто объяснит?

Гармонист из Кадуя Николай Иванович Шадровцев, плясун, охотник, не раз ходивший на медведя, сыграл на своей тальянке и раздумчиво сказал:

— Наверное, мы, гармонисты, от Бога. Нам этот дар с неба дан, чтобы людей радовать.

Самая юная участница этой беседы, но уже лауреат конкурса имени Руслановой, певунья Наташа Баулина утверждала, что ее песенный дар с молоком матери впитан, а той от бабушки передан... И так — в глубь веков.

Скорее всего, в этом и есть истина. Ведь никто из деревенских гармонистов этой особой манере игры не обучался. А каждый играет, как будто бы с этим родился.

...Словно сон, приходит картина из далекого детства. Я маленький, лежу в зыбке. Бабка, Мария Дмитриевна, в печке моется и песни поет. Заходит в дом брат ее, Геннадий Дмитриевич (не Заволокин), а бабушка ему из печи кричит:

— Енаха! Потешкай робенка-то!

Енаха зыбку ногой качает, а сам частушки поет. Причем непечатного свойства.

Бабка опять из печи сердитый голос подает:

— Что ты, лешой неблагословенной, поешь непотребное? Пой беседные!

И Енаха затягивает любимую:

Ехал Ванька на Пеганке
Помаленьку, не бегом...
У него в саниях жестянка,
А в жестянке самогон...

Песня набирает силу и страсть, и через минуту бабушка уже вторит Енахе из печи:

Ты скажи, скажи, Ванюха,
Куда едешь, куда прешь...
Ты скажи, почем бутылку
Самогонки продаешь...

Лежишь себе в зыбке и тоже испытываешь желание запеть, да пока не можешь. Но скоро уже и запоешь:

Меня маменька рожала,
Вся милиция дрожала.
Батько ходит да поет,
Какого чада Бог дает...

Недавно в одной деревне спрятался я от дождя под застреху первого попавшегося дома. Гроза уходила. На западе играли отсветы закатившегося солнца, с крыш потоком лилась вода, в саду пели птицы, а у открытого окна мечтательно сидела древняя старушка.

— Сколько вам лет, бабуля? — спросил я.

— А восемьдесят восемь, милый...

— А сколько в душе?

— А в душе мне восемнадцать. В душе у меня соловьи поют.

...С гармонистом Сергеем Алексеевым поехали мы в деревню к Александру Иосифовичу Трахалову. Ему было 87 лет. У него большая коллекция самоваров. На шестнадцати из них он играл.

Сейчас — поллитру на стол под яблонями, и к самоварам. По стопке опрокинут, и начинался настрой.

— Ты, Серега, играй медленнее «По деревне», а я самовары подберу.

Простукивает самовары ложкой серебряной, тональность ловит.

— Этот, Серега, кипящей, вторым с конца ставим, а этот, пустой, — в изначалье. Поехали!

По деревне шла и пела
Самоварная труба.
С дымом!
А меня дроля провожала
От калитки, от крыльца.
С дрыном!

Серега в гармонь играет, дед Трахалов — в самовары. Трубы дымят, самовары звенят:

Эх, петь будем
И гулять будем.
А смерть придет —
Меня дома не найдет.



С деревенского пива — человек на диво

Говорят: пиво сварено — не мудрено, а мудрено, что не вышло. И верно: как может такое статься? Но у меня на этот счет опыт имеется. Наварил я деревенского пива брату на свадьбу. Ничего сложного тут нет, видел не раз, как это делала бабушка.

Гости и про водку забыли, налегали на пиво. А потом с ума походили: начали ссориться, скандалить. До драки дошло... Не пиво, а стенолаз получился. Мать это пиво в борозду вылила. С борозды в ручей протекло, с ручья в реку...

Рыбаки жаловались, что в тот день рыба у них все снасти пообрывала. Не зря сказано: легки ручки, да не к сердцу. Потом и сам свататься поехал. Тесть пиво выставил, теща стол накрыла. Дай, думаю, я водку пить не стану, а одно пиво, чтобы трезвенником выглядеть. После третьего стакана едва под стол не угодил.

Получается, что у каждого пивовара свое пиво. Своего действия. Но вот что можно определенно сказать, так это то, что с сиземского пива — человек на диво.

Сизьма — это некогда большое село в Шекснинском районе. Правда, за годы реформ понесло оно большие убытки, но все еще остается ухоженным и крепким.

И традиции старые в Сизьме не забывают. А потому решено было провести здесь областной праздник деревенского пива. Наверное, десять лучших мастериц варили к празднику хмельное пиво. И гостей, как в старину, встречали на крыльце Дома культуры хлебом и солью и братиной с пенистым пивом.

Веселье удалось. Часов пять или шесть кряду пел и плясал народ. И под гармошки, и под балалайки, и под ложки, и под глиняные свистки. Мастерицы рассказывали народу секреты пивоварения, пчеловоды торговали воском и вощиной, народные умельцы из Череповца — деревянными ложками, расписными досками, глиняными горшками и лаптями. В народном музее Сизьмы — целая пивная экспозиция. Любой желающий мог наглядно представить, что и в какой последовательности нужно делать, чтобы пиво удалось.

Многообразно талантлив наш народ. Этого уж не отнимешь. И потому пиво сиземское было и с изрядной долей горчинки. Плясать-то пляшем, а вот производство во многих деревнях лежит, как последний подпорожный пьяница. И все же надежда есть, что будет еще и на нашей улице праздник. Настоящий. Не фольклорный, а во всю улицу, в каждом доме. И причиной тому празднику будет богатый урожай, рекордные надои и полный кошелек...

А я для этого праздника записал специально рецепт хмельного пива. Берешь ведро ржи. Чистишь, веешь, рассыпаешь на брезент, смачиваешь теплой колодезной водой, пока не прорастет. Когда появится росточек, зазеленеет чуть, ссыпашь в корчагу, чуть воды добавишь, до влажности, и в печи томишь сутки, пока рожь не покраснеет. Печь должна быть и не жаркая, чтобы не сгорело, и не холодная, чтобы не закисло. Далее нужно полученный солод переложить в другую посуду, добавив туда горсть муки ржаной. Заливаешь кипятком, снова ставишь в печь. День у тебя корчага в печи стоит жаркой. Вечером нужно полученное сусло сцедить и в горячее добавить хмель и сахарный песок. Если у тебя рожь хороша, то и сусло получится густое, сладкое. В такое сусло песку немного надо. Только вот нынешняя рожь плохая пошла. Сусло из нее нужно песком сластить. На бидон пива надо не меньше десяти килограммов песку. Потом оголовок надо сделать граммах на ста дрожжей. Когда поостынет сусло, вливаешь оголовок, и пусть оно у тебя дня три, а то и с недельку походит. А уж потом и гостей зови. Да еще одну народную мудрость надо запомнить: «Вино на пиво — человек на диво, а пиво на вию — человек получается не хороший...».

Рецепт молодости

Что может быть лучше и благодатнее для тела и души, чем русская баня! В ней сошлись и бьются не на жизнь, а на смерть две стихии: вода и пламень. В сумраке прокопченных стен – жаркая истома, керосиново желтеет на окне фонарь «летучая мышь», алыми отсветами исходит в углу каменка, ждет своей минуты, когда ядреный квас из ковша падет на нее и ахнет она восхищенно облаком горьковато-хлебного пара, и распахнет настезь в морозную стынь набухшие банные двери!

А на полке уже настелено клеверного сена, смешанного с разнотравьем, не под палящими лучами солнца сушеного, а вяленого в тенечке под навесом, чтобы не потеряло оно качеств своих и главное – медового аромата. И только отволгнет оно чуть, вберет в себя банного пара, как поплывут под низким потолком дивные запахи знойного лета. Тут уж ложись на полок и царствуй. Вдыхай всей грудью целительный аромат северных лугов. А потом поднимай над собой распаренный веник: березовый, липовый, дубовый – и легкими взмахами гони на себя горячую волну воздуха: на голову, на лицо, на истомленную грудь, на живот и бедра.

И когда тело твое по цвету сравняется с цветом камней, срывайся с полка и, распахнув двери, падай в снежную перину зимы, катайся властью, а потом лежи с полминуты на спине, раскинув привольно руки и ноги, глядя в темное небо, чудно украшенное гирляндами звезд.

И снова – в жар, и снова бросай на каменку воду, и пусть она ахнет восторгом и ударит в потолок тугой волной пара! И пусть веник поработает над твоим телом до полного твоего изнеможения... И снова в снег! Или в ледяную прорубь! И снова в жар!

А когда облетит с веника листва и останутся одни прутья, когда спадет банная жара, сядь спокойно на лавку, вытяни одну руку, напряги пальцы и, пока есть терпение, секи ее прутьями, затем вторую руку, потом стопы... Это гарантия, что организм твой запустит все защитные свои функции и уж от гриппа-то, по крайней мере, он тебя убережет...

И вовсе не зря же в русских сказках сказывается, что Ванька трижды прыгает в котел: сначала с кипятком, затем со студеной водой и после с молоком.



А мы с товарищем...

Развернул гармонь — меха малиновые, кепка восьмиклинка на ухе прилепилась, из-под рубахи — душа матросская — тельняшка клинышком, валенки новые с отворотами, в галошах блестящих. Подмигнул глазом-хитроvanом:

Меня маменька просила:
Наломай на помело.
Какое, мамка, помело,
Меня по девкам повело!

Хорошо поет Василий Ассикритович Домашин. Хорошо и играет. Заслушаешься.
— Пустое, — сам он свои артистические данные вроде бы и не ценит.
— У меня и слуха-то нет. Вон, видишь, на кнопках цифры написаны, по цифрам и играю. Эти вот и поистерлись, где частая игра. А ты говоришь! Кто играет, так мне цифры напишет, я по цифрам и жарю. Вон мои ноты лежат: «Три, пять, три, четыре, шесть, семь, снова три...» Это всяко будет плясовая.

— А что со слухом-то?

— А-а?

— Со слухом, говорю, что?

— Медведь на ухо наступил.

— Ну, ты шутник!

— Да я серьезно! — Василий Ассикритович даже опечалился. — Вот как было. Пошел в лес за грибами. Набрал корзину. Ну и иду домой. Слышу сзади что-то хрустит. Думаю, грибник идет. Не оборачиваюсь. А он меня цоп за корзину-то и повалил. Он думал, что у меня ягоды. Медведь ягоды любит, он грибы-то не любит. Пока он разбирался с корзиной, и наступил мне на ухо. С тех пор по цифрам и играю.

А мы с товарищем работали
На Северной Двине.
А ни хрена не причиталось
Ни товарищу ни мне.

...А вот это уже было похоже на правду. Где только не приходилось работать Василию Ассикритовичу: и на Северной Двине, и в Сибири, на Кавказе, и в Казахстане, и в родных кадниковских краях. Война всей ношей своей непомерной на мальчишечьи плечи легла.

— И голодно, и холодно было, а вот тяготы эти легко переживались. Придем на беседу, только гармошка рыпнет — что горох по полу — в пляс. У нас две девки были плясуньи. Бывало, одна запоет:

Ветерочки подувают
С севера холодные.
Задушевная, попляшем,
Даром и голодные.

Другая ей отвечает:

Задушевная, попляшем,
Больше делать нечего,
Я пошла не пообедала,
И ужинать нечего...

В сорок шестом погнали из Бирякова скот до Ленинграда. Телята еле на ногах стояли от голода. А и сами не лучше. Все лето и шли, на подножном корму набирали привесы. А старший гуртоправ одной девке еще и брюхо заделал — тоже привес. Шли мимо Пулковских высот, боялись подорваться. Танки, пушки искореженные видели. кости человеческие в окопах белеют... Все перенесли.

Мы с товарищем работали
На северных путях.
А ни хрена не заработали,
Приехали в лаптях...

...Живет Василий Ассикритович примаком у городской кадниковской власти в маленькой комнатухе административного здания. Большого, видать, за жизнь свою многотрудную не заработал. Где бы горе горевать, а он песни поет. И народ веселит. Ездит с детдомовскими ребятишками на детдомовской лошади по улицам, частушки поет про себя да товарища с северных путей, и всем весело. Такой вот непостижимый народ наш русский.

Город Кадников, бывший некогда деревней Кадушкино, размером сам с рукавицу, в полчаса лошадю объедешь все десяток его улиц, но вот революционные амбиции



у него непомерные. Едешь и диву даешься названиям. Ну улица Коммунистов и Рабоче-крестьянская, Карла Маркса и Володарского – еще куда ни шло, но почему улица Розы Люксембург и Фердинанда Лассалья? Впрочем, Фердинанд Лассаль – это кто? Мужчина или женщина? Или, может быть, явление. Об этом стал я спрашивать жителей Кадникова, чем поверг их в большое смущение.

По одной версии, Лассаль – это писатель, по другой – физик, по третьей – какой-то сосланный в Кадников царским режимом бунтовщик, по четвертой... и вовсе это только название «поперешной» улицы и более ничего. Не нашел я на улицах города человека, кто бы знал, что такое Роза Люксембург и Моисей Володарский.

– Ну, это не при нас было, отвечал мне старик, торгующий голиками. – Чего меня спрашивать, я еще салага...

Так я и не смог выяснить связи кадниковцев с деятелями германского рабочего движения и самим Фердинандом Лассалем, основоположником немецкого мелкобуржуазного оппортунизма. А вот связь Кадникова с современной Неметчиной обнаружилась самым неожиданным образом.

На имя Василия Ассикритовича Домашина пришла из ФРГ бандероль с видеокассетой. Две дочери Василия Ассикритовича в свое время в Казахстане вышли замуж за этнических немцев и переехали на жительство в объединенную и процветающую Германию.

Мы нашли видеомагнитофон и стали смотреть на тамошнюю жизнь. Да, было, отчего всплеснуть руками. Ухоженные улочки, зеркальный асфальт, шикарные авто, огни рекламы... Дочки демонстрировали свои квартиры, сияющие кафелем и никелем санузлы, стиральные машины-автоматы и суперпылесосы, сидели семьями за богатым столом и посылали приветы в Кадников.

– Вот так, папка, и живем, – сказала наконец старшая, с печалью в голосе. – Самогонки не пьем, песен не поем, не пляшем... Уж как-нибудь накопим денег да к тебе приедем...

– Да, – помолчав, сказал задумчиво Василий Ассикритович. – Где бы я ни был, где бы ни жил, а нет лучше Кадникова.

– Это почему? – удивился я.

– А город Кадников хорош, стоит на самой на горе, – запел он вдруг самодельную нескладуху. – А Дом культуры, расположенной на самой высоте...

Потом снова помолчал и сказал грустно:

– Не знаю, почему. Это Родина наша потому что...

А мы с товарищем на Севере
Носили брюки клеш.
А шевелилась за опушкой
Килограмма на два вошь...

Под гармонь...

Что такое традиционная мужская русская пляска с ее коленцами, выходкой, присядкой, притопыванием и дробью? Мало кто знает, но под спудом ее кроется боевое искусство наших предков, вынужденных то и дело защищать свое Отечество. И как утверждает один из исследователей ее, плясун, гармонист, руководитель детского фольклорного коллектива из Череповца Виктор Соловьев, искусство русской боевой пляски может превосходить все известные восточные единоборства.

Гармонь в этом искусстве играет основную роль, она, словно генератор, включает в человеке потаенные резервы, будоражит кровь и может начисто погасить природное чувство страха. На Вологодчине существует особый гармонный наигрыш «Под драку» — своеобразный боевой сигнал, в Тверской области такой наигрыш назывался «Бузой», на Урале — «Мамочкой»...

В Кадуйском районе, например, гармонист, чувствуя, что накал страстей идет к выяснению отношений местных с пришельцами, играл этот сигнал, а далее через себя бросал гармонь, зная, что ее обязательно поймают, и сам первым вступал в бой.

Во время Великой Отечественной войны были случаи русской психической атаки. Вот как ее описывают очевидцы: «Полк поднимался во весь рост, с одного фланга шел гармонист, играя или вологодские переборы «Под драку», или тверскую «Бузу», с другого фланга шел другой гармонист, играя уральскую «Мамочку», а по центру шли молоденькие красивые санитарки, помахивая платочками, и весь полк издавал при этом традиционное мычание или хорканье, какое обычно издают плясуны, когда дело движется к драке, для устрашения противника. После такой психической атаки немцев можно было брать в окопах голыми руками... Они были на грани умственного помешательства».

Нужно ли сегодня восстанавливать и хранить традиционную мужскую пляску как вид боевого искусства? Оказывается, в элитных подразделениях наших войск уже используют приемы русской пляски для подготовки рукопашных бойцов. Виктор Соловьев со своими учениками продемонстрировал боевую пляску с серпом и даже с бревном. Происходило это во время народного праздника «Своим умом».



Богатыри Сухоны

Дом Василия Ивановича Макарова в Тотьме едва ли не самый заметный. Украшен затейливой резьбой, просторен, ухожен, цветами украшен. На огороде порядок, урожай убран, ботва аккуратно в кучи сложена – на последнем солнышке бабьего лета сохнет. Огромные подсолнухи завязаны платками, чтобы не поклевали птицы семена...

Василий Иванович много потрудился за свою жизнь, работал на руководящих должностях, был директором леспромхоза, в сорок с лишним закончил лесной техникум, добирая образование. А еще он замечательный рассказчик. А истории у него все до одной правдивые. Мы с Макаровым не один самовар чаю с медами выпили, пока я эти истории на карандаш не взял. Теперь вот вам предлагаю.

Народ у нас по Сухоне-реке крепкий был. В обиду себя не даст. Богатыри. Как-то через Петрилово на Архангельск проезжал по старому тракту знаменитый на весь мир борец – непобедимый Иван Поддубный. В Петрилове еще маслозавод был, делали льняное масло. Вкус до сих пор во рту стоит.

Так вот, ехал Поддубный в Архангельск, а по пути про богатырей справки наводил. С кем дак и силой мерялся. Вот в Петрилове ему на Александра Шестакова показали. Племянника его я и по сей день знаю: здесь, в Тотьме, живет. Порода крупная. Шестаковы всегда силой славились. Александра за силу и отвагу звали Вихрем.

Приходит к нему Поддубный. «Давай, – говорит, – силой меряться. Палку перетягивать. Вот сядем на землю, ногами в ноги упремся, возьмемся за палку и станем тянуть, который которого с места сживит. Во мне, – говорит Поддубный, – сто пятьдесят килограммов весу да сколько я руками потяну... Не забонься?»

Нашего Вихря не запугаешь... Еще мальчишкой был, так слава о нем богатырская шла. Играют с ребятами, бывало, в лапту, который и обидит его словом. Драться не станет, а дернет с головы обидчика шапку, подойдет к бане, за угол подымет ее и под угол шапку положит, доставая потом.

Потом, уж в серьезных годах был, пошел на Троицу с тремя сыновьями в соседнюю деревню Жилино. А через реку артельщики мост ставили. Сами-то на выходной уехали, а баба, коей сваи забивали, лежит на берегу без дела. Вихрь ребят своих

подначивает: «Кто сколько раз бабу подымет, тот столько чарок будет пить!» А парни – косая сажень в плечах, кровь играет. Один подошел – не шевелится баба. Второй – только пошевелил, третий сын, Василий, – раз поднял. Сам Вихрь пять раз бабу поднял. Пять чарок пил. Такого и вину свалить не под силу. В бабе-то сорок пудов весу было. Это шестьсот сорок килограммов!

...Вот при большом стечении народа сели они с Поддубным тягаться. Ухватились за палку, уперлись. Жилы налились – того гляди, лопнут. Не могут никоторый которого одолеть. И никоторый уступить не желает. Тут малейшую послабку дай – и проиграл.

Сколько они так вот сидели, не скажу. Знаю только, что у обоих из-под ногтей от напряжения кровь пошла. На том и кончили спор.

Был еще один такой богатырь – Волохов. Сила в нем такая была, что на плече носил бревен из лесу на весь дом. А бревна в вершине на двадцать четыре сантиметра в диаметре! Или поедет в лес за сеном. С дороги свернешь – снегу по пояс. Он лошадь свою жалел. Выпряжет на дороге, сам – в оглобли, навьет сена воз и вытащит на дорогу, только потом уж лошадь запрягает.

В Фоминском, всяко видели, стоит кирпичный дом в два этажа купца Пестова. Как-то пришел к нему Волохов за мукой. Тот и решил позабавиться.

Слышал, говорит, про твою силу нечеловеческую. Я, говорит, тебе целый мешок крупчатки бесплатно дам, ежели ты условие мое выполнишь. Донесешь, говорит, мешок до дому на себе с одной остановкой на мосту – твой мешок. А на нет, так и суда нет.

А мешки тогда по восемьдесят килограммов были. И до деревни десять километров... Волохов только ухмыльнулся. Ударили по рукам. Свидетелей свистнули. Волохов взвалил мешок на плечо и пошагал так, что сам Пестов в бричке за ним едва поспекает. Вот на середине пути до моста доходит. Можно перекурить, а он только вот так мешок на плечо подкинул и без роздыху – до самой избы...

Алексей Новиков тоже из богатырской породы. В молодости его Палачом дразнили. На гулянках и беседах никому спуску не давал.

Бывало, ребята схватятся драться, стенка на стенку пойдут, так он их, как котят, раскидает по сторонам.

Здесь вот недалеко живет. Всяко ему восемьдесят шесть годов сейчас. Всю жизнь охотой промышлял. Более сорока медведей добыл.

Тут уже в наши дни принял я под начало лесопункт в Красном Бору. Случилась авральная ситуация. Через месяц на реке сплав, а у нас мост чуть живой. Снесет по весне – останемся без связи с миром.

Надо новый мост ставить, да кто за это дело возьмется: сроки нереальные, да и холодно. Вспомнил про Новикова, отрядил гонцов. И тот согласился. Через месяц к

сплаву у нас новехонький мост стоял. А его я как сейчас вижу: по льду уже вовсю вода бежит, а он, босой, в одних исподних, стоит чуть не по пояс в ледяной воде и командует, как и куда сваи бить...

Нет, мне до прежних богатырей далеко. Хотя на силу свою не пообижусь. Подростками еще были, на спор носили на горбу чугунный язык от колокола в пятнадцать пудов весом. Я на двадцать пять метров унес. Рекорд поставил.

Ну, да тогда баловством некогда было заниматься. С тринадцати лет в колхозе пахал и сеял. Война! Мужики — кои в окопах, кои в сырой земле. А я старший в семье. Закончил четыре класса — и за работу. Весной на пароконном плуге пахал за день до гектара и более. Самый высокий результат был гектар двадцать восемь соток. Об этом и в газете писали, но председатель больше гектара в день пахать запретил: то ли меня, то ли лошадей пожалел.

На сенокосе работал звеньевым. Десять баб и один я. Мало кто поверит, да и очевидцев мало осталось, но было, что за день я поставил стожаров на девять стогов и девять стогов сена сметал.

Домой пошел, что такое: была одна деревня, а тут две. Одна деревня на другой стоит. Утром встал — как ни в чем не бывало. Надел рубаху вышитую, на сенокос пошел. Только первый пласт сена взял, так тут и упал. Боль в животе, как по живому режут. Говорят: ты, парень, с пупа съехал.

Потом одна женщина мне пуп вправляла. Топили баню, живот мне распаривали, и она пуп этот крутила. За четыре дня поставила пуп на место, а меня — на ноги.

Когда уже начальником лесопункта работал, строился и опять с пупа съехал. Подсказал один кузнец, они с братом дом строили и надорвались. Брат умер, а он старинным способом спасся. Надо на горшок или стеклянную банку животом лечь и лежать, покуда терпенье есть. Потом покажется, что внутри будто бы что-то соберется и туда, в банку, уйдет. Я так и сделал, до сих пор с животом нету проблем. Мне шестьдесят четыре года, а выходи против меня любой молодой сено ли косить, метать ли, картошку копать — ставлю вперед сто очков: за мной не угнаться.

...На этом месте Василий Иванович Макаров взял в руки гармонь да так весело и мастерски заиграл, что ноги сами в пляс запросились. А жена его, сидевшая рядом за самоваром, легко выпорхнула из-за стола, продобрила строчку и, озорно сверкнув глазами, пропела:

Где найти такого деда,
Как на пасеке дедок...
Ему сто четыре года,
Девоч любит, что медок!

Чувство хозяина

Вот все говорят: чувство хозяина, чувство хозяина.

А что это такое — никто не может объяснить.

Жил в нашей деревне старик Василий Игнатьевич Беляев. Казалось, что время для него остановилось. Сколько лет ни знал его, а все одинаковый. Жилист, сутул, редкие седые волосы, что пух одуванчика. И глаза. Удивительной ясности голубые глаза на обветренном, иссеченном морщинами лице.

Василий Игнатьевич возил молоко от колхозного стада на сепаратор. Бидоны так и летали в его руках, хотя было старику далеко за семьдесят. Молчалив. Бывало, сидит на передке телеги, и голова его покачивается в такт неспешной поступи колхозного мерина Дозора. Но каждого встречного Василий Игнатьевич приветит. Приподымет кепочку-блин и улыбнется светло:

— Мир тебе, добрый человек.

В деревне было известно, что Василий Игнатьевич воевал в финскую и Отечественную. Говорят, что наград у него — в шапку не окласть. Но хвастать ими старик не любил. Однако вот дом у него, пожалуй, был самый видный на деревне. Тесом обшит. Деревянной резьбой изукрашен, маслом крашен, во дворе полный порядок, все тропочки прометены, каждой щепке свое место, забор выставлен из тонких бадожков, крашенных и опиленных под плавную волну. Этот забор и послужил причиной события, удивившего деревню и открывшего Василия Игнатьевича с неожиданной стороны.

Как-то пришли в наш деревенский магазин молодые матросы с брандвахты, что чистили дно в реке Шексне. Как раз в магазине был завоз дешевого портвейна, и наши мужики тут же у магазина праздновали это событие. К пиршеству подключились и матросы. Но тут как на грех явилась в магазин последняя деревенская девушка — доярка Верка, смазливая и кокетливая. Что там произошло, но пошла между матросами свара. Наши мужики в эту свару тоже встряли: как же, хозяева, надо порядок блюсти. А матросы, замирившись вдруг, повернули свои фланги против хозяев.

Драка завязалась изрядная. Но сила силу ломит, не помогли и стены, дрогнули наши мужики, отступать стали. Василий Игнатьевич баталию из окна наблюдал.



Конечно, за деревню обидно, а дело стариковское — на печи лежать. Но только видит он, что один матросик подбежал к его огороду и выломал крашенный стежок, чтобы сподручнее деревенских было гнать. А за ним второй, третий...

Василия Игнатьевича как смело с лавки. Выскочил на улицу, глаза молнии мечут, руки — как мельничные крылья. Подлетел к первому матросу, с одного удара в канаву сшиб, второго левой достал, третьего ногой — и стежок крашенный не помог.

Тут мужики наши, видя столь неожиданный поворот битвы, пошли в наступление и гнали супостата до самой околицы.

...Думаю, что эти три матросика с брандвахты ясно представляют себе, что такое чувство хозяина. Жаль вот только, что не совсем по адресу пришелся урок — надо бы его преподать тем, кто до сих пор над нашей деревней эксперименты ставит.

Железный Самсон Вологодский

— У меня удар правой около пятисот килограммов. У Тайсона — тонна. Но я бы посчитал за счастье выйти с ним на ринг. И если бы он меня не смял в первых трех раундах, то дальше он бы меня уже не смял.

— Эх, ты куда загнул! Тайсон! — не выдержал я. — Это ж король ринга. Машина.

— А я человек! Причем русский, вологодский. У меня голова к тому же еще имеется. В меня еще попасть нужно.

— Ну, если вологодский, тогда другое дело, — согласился я.

Мы ехали на машине департамента сельского хозяйства в один из колхозов. Валентин сидел за рулем, поскольку он работал в этом департаменте водителем, и между нами шел такой вот патриотический разговор.

— У меня характер: мне все время хочется испытывать себя и свой организм на предельных возможностях. Я пятнадцать лет на БАМе отпахал. Прокладывали трассу под магистраль. Бывало, я бензопилой за смену вываливал до километра тайги. Там в тайге научился травознанию, научился жить в согласии с природой, и теперь вот, с возрастом, кажется, энергия во мне не убывает, а все возрастает и возрастает...

В сорок пять лет Валентин Самсонов в честь недавнего юбилея Вологды задался целью совершить сверхдлинный пробег, и совершил его.

Впрочем, сам он не совсем доволен своим подвигом.

— У меня была мечта пробежать от Вологды до Парижа. Это четыре тысячи километров. А там с каким-нибудь французешкой вбежать на Эйфелеву башню. У них такое соревнование есть, — вздыхает он с сожалением. — Только вот у города денег хватило отправить меня только до Финляндии. И то выделенную было сумму пять раз обрезали. Так я и побежал без медика и массажиста. В некоторые дни бежал по сто и более километров. Перед последней дистанцией колено подвернул и ногти все с ног поотвалились. Но зубы стиснул и побежал к финишу.

Мало кто знает, но Валентин перед своим суперпробегом скрыл, что у него всего два месяца назад было проникающее ранение грудной клетки и легких. Два удара



ножом. Вечером он нарвался на вооруженных бандитов. И уже раненный сумел задержать преступников.

В Финляндии Валентина встречали как героя. Цветы, пресс-конференции, интервью, торжественные приемы в его честь.

— Хотел бы я организовать первый в Вологде профессиональный бой на ринге. Уверен, что на такие бои народ валил бы валом. Вот тебе источник доходов для развития спорта.

— Ты с такой инициативой выступал?

— Да. И сейчас готов выйти и сразиться с любым боксером в тяжелом и полутяжелом весе двенадцать раундов, в свои сорок пять. Если такового не найдется, готов биться с двенадцатью боксерами. Пусть они меняются каждый раунд.

— И ты выстоншь?

— Не зря же меня Железным Самсоном в гараже зовут. У меня своя система тренировок. Веду бой с тенью. В этом есть особый секрет. Каждый вечер на стадионе пробегаю по сорок-пятьдесят кругов. Еще я задом умею хорошо бегать. Могу рекорд для книги Гиннесса поставить: пробежать задом от Вологды, ну скажем, до Сокола... Слабо организовать?

...Да, что и говорить, поразил меня Самсон Железный своими богатырскими устремлениями. Вот пример русским мужикам: в сорок пять, по Самсонову, для воло-

годского мужика, оказывается, самый расцвет сил наступает. Так что хватит, мужики, в стакан заглядывать, встряхнитесь — и на стадион, или топор в руки — и лес валить, дома да амбары строить под будущий урожай. Надо, братцы, самим жизнь свою налаживать, дух и силы свои крепить. Все еще впереди!

Но это еще не все способности Железного Самсона описал я.

Есть у него еще один псевдоним — Валя Вологодский. Подарил мне Валентин целую кассету с записями собственных песен в собственном исполнении и под собственный же аккомпанемент. Тут песни и про сантехника Леху Рванова, и ботиночки на кожаной подошве, про вологодскую разбитную девчонку, про милицию (у Валентина дочь милиционер) и про шоферов.

Обе песни заслуженные артисты исполняли. Последнюю Александр Судин пел. Так пел, что водители в зале плакали. Говорят, плакали и милиционеры, хотя им плакать и не положено.

— Песни у меня сами собой в голове возникают. Бывает, привезу начальство в какую-либо организацию, дожидаясь, а песни сами собой складываются. Вот в Сямжу приехали, пока у администрации стоял, написал про красавицу сямженку. Хочешь, спою?

И Валентин запел. И снова я поразился. И слова, и мелодия были удивительно хороши.

— Да тебя сямженская культура должна на руках за такую песню носить, — говорю.

— А я им отослал давно уж песню-то. Молчат. Обидно даже, — погрузил он. — Опять же гимн обновленного Союза написал, послал в Москву, правда, оттуда ответ пришел с благодарностью. Уж не знаю, может, и возьмут что и от моих трудов. Я на авторство не претендую.

Тарелка щей для чемпиона

Темной морозной ночью ехал я старой устьянской дорогой на село Филисово. Густо валил снег, и я не сразу разглядел в свете фар человека. А когда разглядел, то увиденное так потрясло меня, что я едва удержал в руках руль.

В снежной метели по занесенной дороге бежал совершенно голый человек. С непокрытой головой, босой, единственно плавки прикрывали самую малую часть его тела. Но какое это было тело! Редкий культурист не позавидовал бы его накачанному торсу.

Я поравнялся со странным бегуном и через опущенное стекло спросил участливо:

— Раздел, что ли, кто? Помочь?

— Я сам разделся, — отвечал он спокойно. — С работы домой бегу. Тут недалеко. Километров семь, не боле.

— Ничего себе — не боле, — удивился я.

— Да я по сорок и по пятьдесят километров бегал. Правда, в одежке. Раньше плотником в совхозе работал, на пилораме, за двадцать километров от дому, халтурили. Смену закончим, мужики — за поллитровку, пока автобуса ждут, а я инструмент оставляю и... бегом. Так, бывало, я уже дома чаю напьюсь, скотину обряжу, а они только едут...

— На работу бегом и с работы своим ходом, да еще день бревна катать! Это ж какую силу иметь надо, — поразился я.

— Тренировка! — отвечал он на бегу. — Купание в проруби. Ну да и природа не обидела. Вот у меня брат. С виду щелчком зашибешь, а, бывало, под лошадь подлезет и подымет на плечах...

Скоро показалась деревня Порохово, где и жил этот странный человек, поразивший мое воображение. И я напросился в гости к этому богатырю.

Звали его Владимиром Александровичем Теленковым. Он захопотал, собирая на стол, а пока готовился чай, выложил передо мной огромную папку, набитую Дипломами и Почетными грамотами за спортивные достижения. На стене висели чемпионские ленты и медали.

Теленков в свои пятьдесят девять лет оказался и лыжником, и бегуном на длинные дистанции, и гиревиком.

— Вот, — рассказывал он за чаем, — прошлым летом задался стать чемпионом мира в своей возрастной категории по гилям. В Липецке тогда чемпионат мира проходил. Побежал в спорткомитет. Одобрили. Дали денег на дорогу да на день прожить. Чтобы выступить, чемпионскую ленту с медалью надеть и — домой.

Приезжаю. Ах, ты мне! Чемпионат на десять дней перенесли. Все одно, думаю, стану дожидаться. Больше мне денег не дадут. Оголодал изрядно за этот срок. Надо выступать, а у меня в глазах — тарелка щей и в животе — тоска. Хватило сил только на второе место, серебро взял. А победитель меня всего на девять толчков обошел. Мне бы эту тарелку щей, так не знаю, где бы тот чемпион был!

...Спортом Теленков начал заниматься в сорок лет. До того и курил, и выпивал изрядно. Одно слово — плотник. А в сорок хирург на сосудах операцию сделал. И приговорил: больше пяти километров в день на ногах не передвигаться. Все, на этом, можно сказать, жизнь полноценная закончилась. И такая досада взяла, что решил судьбу эту превозмочь. И побежал. Не пять, а все сорок, пятьдесят километров... Потом в прорубь затеял нырять, потом до гирь добрался.

Мало того, что сам за эти годы богатырем стал, которому ни мороз, ни жара, ни самая тяжелая работа не страшны, десятки последователей воспитал среди устьянской молодежи в спортивной школе. Вполне возможно, что они и завоюют титулы чемпионов мира, до которого учителю их в наше время не хватило всего тарелки щей.

По волчьему следу

Накануне двое суток мело. За окнами словно в гигантском котле клокотал буран. Наконец, метель улеглась, и наутро мир явился в сиянии солнца, засыпанный снегами по самые брови домов.

Анатолий Очеленков, едва ли не последний из мужиков маленькой деревеньки Пасточ, еле-еле сумел выбраться из дому — такой сугроб намело к дверям. И первое, что бросилось в глаза, — по снежной целине улицы цепочка следов. Матерый волк-одиночка прошелся ночью деревней в надежде пожить собачатиной. Следы уходили деревней на проселок, с проселка в лес. На душе стало тревожно. Волки в эту зиму день ото дня плотнее приступали к деревням. В лесу добычи для них уже не оставалось. Порезали всех лосей и кабанов, передавили зайцев и тетеревов... А у Анатолия двор полон живности. Корова, телок, лошадь... Не зимой, так летом жди беды. Надо как-то оборониться от серых бандитов! Надо.

К обеду Анатолий запрят лошадь, кинул в дровни охапку сена, в сено — дробовик, заряженный на всякий случай картечью, и отправился в большую деревню на телефон — звонить старому своему знакомому егерю Косте Куликову, знаменитому на всю Вологодчину волчатнику.

...В тот раз вместе с охотниками Константином Куликовым и Артуром Тимошенко в деревеньку Пасточ, что на границе Череповецкого и Шекснинского районов, приехали и мы с оператором Витей Латкиным: была давняя мечта снять фильм о волчьей охоте. Артур с Константином ехали на древнем «уазике-буханке», в салоне которого разместился снегоход «Буран», а на прицепе — второй латаный-перелатаный «буранишко».

Я уже писал об этих удивительных охотниках, за несколько лет уничтоживших более ста пятидесяти волков. Были случаи, когда за одну охоту они добывали до 17 волков. Охотятся на волка они в феврале-марте, когда снег глубок и зверь не может далеко уйти. Главное для них — найти волчьи следы, распутать, выйти на стаю. А там уже дело техники. Надо видеть, как носятся они на своих «Буранах», поднимая снеговую завесу, по лесам и буеракам. Иной раз «Буран» метров пять-шесть летит по воздуху. Не уйти зверю лютому от возмездия.

...К ночи вызвездило, ударил мороз под тридцать градусов. Гулко ухали от стужи бревна в домах. И на пушечную эту пальбу испуганно отзывались уцелевшие по деревне две-три собачонки.

Пили из самовара чай. Мурлыкал на коленях Артура кот, теленок за печкой отогревался от дворовой стужи, хозяин Анатолий забрался на печь, докладывая оттуда истории про волков:

— Не совру, у нас в деревне в сорок седьмом случай был. И что такое, как только худо в государстве, как только народ начинает страдать, как тут же на него всякая напасть наползает. То болезни, то мор. А уж волки-то тут как тут. И вот в конторе общее колхозное собрание идет. А контора-то в бывшем кулацком доме в два этажа. И лестница крутая. Все в горнице восседают, лавки рядами. Накурили — двери полы. И тут собачонка по лестнице с визгом залетает, шасть под лавку. Обернулись, а за собакой-то волчище, и тоже под лавку сунулся, ухватил ее, на плечо и одним прыжком уж на улице... Так вот.

— С волков станет, — сказал егерь Константин солидно.

— А то дак было, — снова отозвался с печи Анатолий, — идет баба из деревни в деревню, собачонка с ней. И тут волчище на дорогу через сунет и выскакивает. Собачонка — бабе в ноги, а та хлоп в обморок. Собака-то бабе под юбку — юбки тогда длинные носили, не нынешнее время. Так он, волчище-то, бабе под подол залез, там и порешил песика.

— Может, мужик какой в волчьем обличье был? — почему-то усомнился Артур.

— Да нет, сказывала, волк, — ответил Анатолий. — Хотя кто ее знает. В обмороке была дак.

Наутро Константин расстелил на столе карту двухверстовку:

— Велика ли стая, говоришь?

— Шесть-семь волков на Пустой Мушне ходило, — Анатолий тоже припал к карте.

— Вот тут и станем искать. Между Пустой и Жилой Мушной. Если нет, то подыдем-ка к Ковже, к Киргодам...

Нас они в тот день оставили на хозяйстве. Уложили в «Бураны» ружья, топоры, ложки, Артур еще прихватил зачем-то от печки ухват, и унеслись, поднимая тучи снеговой пыли, в оцепеневший от мороза лес. Мы поехали по окрестным деревням, на треть пустым, поснимали пейзажи. Вернулись к обеду и еще на входе в деревню услышали надсадный собачий лай.

Встретил нас сияющий Артур. У ворот сарая валялся убитый волк, а на охапке сена тут же полулежал второй — живой, сверкал лютыми глазищами и скалил зубы. Лапы у него были связаны, а в пасти была палка с веревкой, стянутой за ушами.

— Думаем, чего вам с нами по лесам-то скитаться, — сказал Артур. — Решили — с доставкой на дом.

— Да как хоть вы его умудрились взять? — поразился я.
— Ухватом, — рассмеялся Артур. — Только вот руку поранил мне. Слава Богу, успел отдернуть.

Руки и лицо у Артура были в свежих ссадинах и красны от морозной окалины.
...Костью ждали едва ли не до полуночи. Мы переживали, а Артур был спокоен:
— Азартный. Если волчицу нашел, гонять будет, пока горячее не выйдет. Костя в лесу не пропадет. На лыжах выйдет. Было в Вытегорском районе двое суток выходил.

Костя вернулся с ног до головы в морозном инее. На лыжах.

— Взял волчицу, — сказал он устало. — Утром съездим, пригоним «Буран».

Снова чаевничали. За удачное начало выпили по пятьдесят граммов. Ровно по пятьдесят.

— Километров шестьдесят сегодня опоясал, лес совершенно пустой, — сокрушенно сказал Костя. — Одни волчьи следы да помет.

— Там где волки есть, там ничего нет, — подтвердил Артур. — Как-то на кабанов охотились. Нашли стадо в семь штук. Думаем, утром отстреляем кабанчика. Приходим: вся лежка кровью улита, одни клочки. Волки все стадо за ночь порешили.

— Наши мужики охотились. Подсчитали. Стая волков в двенадцать штук за две недели семь огромных лосей завалила. Лось у них на два дня уходит, — сказал Констан-



тин. – Жалко лосей. Вот у нас в районе двенадцать пар. Через год они дадут приплод в шестьдесят волков. А их лесу не прокормить.

– Что же делать? – спросил я.

– Отстреливать, – дружно ответили охотники. – А отстреливать некому. Невыгодно. Денег за волков государство не платит или платит с большими задержками.

– Вот мы с Артуром на одном энтузиазме держимся. За день сто пятьдесят литров бензина спалили, «Буран» боле двадцати тысяч стоит, а по лесам его надолго ли хватит?

Невеселый получился разговор.

Наутро Анатолий с Артуром развязали и выпустили из погреба серого разбойника. В первые минуты тот и не понял, что его отпускают на свободу. Лег на укатанную «Буранами» дорогу, огрызался, прижимая уши. Артур пнул его под зад валенком.

– Гуляй, серый!

Собаки трусливо жались к калиткам. Глухонемой обитатель Пасточа Гено махал в волнении руками и что-то мычал. Волк встал и, оглядываясь воровски, медленно пошел к лесу. Но, почувя обретенную свободу, вскоре перешел на широкий шаг.

Через час Костя с Артуром выгнали его в широкое поле, прямо на камеру Латкина. И снова Артур ухватом прижал зверя. Но вязал его на этот раз я. Для истории.

Волка снова посадили в погреб. Пристреличь его не поднялась рука ни у Артура, ни у Кости. Такая человеческая тоска была в глазах у серого!

– Может, зоопарк какой возьмет, – уговаривал себя Артур. – А может, кто из новых русских возьмет его себе охранять награбленное богатство?

В глазах старого охотника теплилась надежда. И такая надежда, показалось мне, была в глазах у зверя...

«То ли буйвол, то ли бык, то ли тур...»

В селе Богородском в ожидании хлебной машины из Устья рассказывали в очереди всякие деревенские страсти.

— И поехал он, девки, на лисапед за грибами, — докладывала одна словоохотливая бабка, — а уж к холодам дело-то. В пустой деревне приторопило. Зашел в разваленный дом, спустил портки, присел. Да долго не засиделся. Слышит, во дворе вздохнул кто-то, будто кузнечные мехи развели. А следом дверь на калидор с петель слетает, а в дверях образина страшнолюдная — морда что кадушка, рожищи саженные и борода косматая в репях.

— Свят, свят, — закрестились в очереди бабки.

— Дак Иван в окошко, что твой акробат, вылетел. Да на лисапет. А из-за дома-то ищо рожи косматые одна по за одной вылезают. До Богородского, сказывают, так без порток и прилетел...

— Да кто хоть был-то?

— Кто-кто... Известное дело: нечистая сила брошенные деревни обживает.

В очереди перекрестились. Только Николай Мосенков, молодой мужик с усами, как у канцлера Бисмарка, местный егерь, засмеялся, подкручивая ус.

— Это, бабушки, зубры были. Особо охраняемый зверь!

Все вздохнули облегченно, но тут же заговорили в один голос:

— Не твои ли зубры стога на пожнях потрошат? У председателиши сельсовета стог одним днем убрали. У того же Ивана — два стога. Это разве дело? Кто ущерб возместит?

Николай посерьезнел:

— А вот я и предупреждаю. Вижу, что недалеко от стогов лежки, говорю: увозите сено к домам, иначе без сена останетесь. Зубр — зверь дикий, с него взятки гладки...

...О том, что в Усть-Кубенском районе обитают реликтовые зубры, я слышал и ранее. Завезли их в начале девяностых в соседний Кирилловский район, в националь-

ный природный парк «Русский Север» из Беловежской пуши, но зверь там не прижился и перекочевал в заозерье. Говорят, здесь место посуше и пропитанья для зубра больше.

Это огромный зверь, самый крупный из существующих на земле быков. Вес его достигает 1200 килограммов. Длина тела — до 3,5 метра. Высота в холке до 195 сантиметров. Довольно осторожный, а в период брачного гона — и агрессивный.

Участковый инспектор милиции Николай Смирнов рассказывал мне, как он ездил знакомиться с новоселами на вверенной его попечению территории. Ехали с братом к месту кормежки на тракторе-колеснике. Николай и охотник заядлый, на крупного зверя ходит, а вот при виде зубра сердце, говорит, затрепетало, словно заячий хвост. Стадо числом до восьми голов кормилось на совхозном поле, где опрометчиво были оставлены рулоны с сеном. Вожак метровыми своими рогами поддевал рулон в полтонны весом и раскатывал его словно половик. Решили подъехать поближе и чуть было не поплатились за свою дерзость. Гигантский косматый зверь развернулся в сторону пришельцев и немедленно атаковал трактор. Одним ударом он пробил обшивку и начал сотрясать предполагаемого железного соперника так, что колеса трактора опасно отрывались от земли, а сам трактор едва не перевернулся. Страху натерпелись изрядно.

...Я атаковал егеря Мосенкова. Атаковал просьбами показать зверей. Николай долго сопротивлялся: мол, это и опасно, и трудно, что раз на раз не приходится, что нет для поездки бензина, звонил профессору Прозорову в Молочное за разрешением, — но все же сопротивление было сломлено.

Выехали мы под вечер. В полях уже лежал снег, но «Нива» достаточно легко преодолела препятствия. Мы ехали пустынной местностью, некогда густо заселенной, судя по остаткам догнивающих строений и одичавшим садам. На взгорье, откуда хорошо обозревался лес и поле с сенными рулонами, наполовину уже распрошенными, остановились.

— В сумерках должны выйти, — сказал егерь, приглушая голос. — ни плохо видят, зато слышат хорошо и нюх у зверя отменный.

Скоро закатилось солнце, оставив по-за себе пылающий закат — предвестник близких морозов. Мы ждали. Ноги мои, в ботинках, застыли, руки свело холодом, а зубров все не было. Егерь заволновался: а выйдут ли, не откочевали ли в другое место? И тут метрах в ста появились они. Восемь зубров шли словно небольшой железнодорожный состав с паровозом во главе. В середине, видимо, для безопасности, шел маленький зубренок. Скоро стадо остановилось, и шедший впереди бык начал пристально обозревать и обнюхивать местность. Почуввав присутствие посторонних, стадо тотчас сбилось в круг, защищая зубренка. Мы замерли, замерли и звери, готовые при малейшей опасности повернуть в лес. Но мы оказались терпеливее. Вожак двинулся к центру поля к рулонам.

— Давай ближе, с той стороны на фоне заката, может, удастся снять их, — попросил я егеря.

Он завел «Ниву» и медленно двинулся в обход стада. Звери позволили нам приблизиться еще, остановились, подслеповато рассматривая пришельцев. Казалось, что еще движение — и вожак пойдет в атаку, и тогда нашей «Ниве» и нам несдобровать. Но звери решили с нами не связываться. Вожак первый бросился к лесу, а за ним и все стадо. Казалось, от их бега сотрясается стылая земля. Но бежали они легко и красиво, перекатываясь по полю, словно огромные морские валы. И гривы их развевались по ветру.

...Владельцем устьянских зубров считается Вологодский институт лугопасбищного хозяйства, который приобрел их в свое время для научной и селекционной работы. Средств для серьезной научной работы сегодня у института нет. Чтобы не допустить кровосмешения и добыть средства для покупки в Беловежской пуще новых производителей и самок, ученые вынуждены продавать разрешения богатым иностранцам на отстрел отдельных зубров.

Некогда зубры обитали по всей Европе и считались самым заманчивым объектом охоты. Последний европейский зубр погиб от руки охотника в Беловежской пуще в 1921 году. Через два года был убит и последний кавказский зубр. Больше в природе диких зубров не осталось. Но, к счастью, в зоопарках мира находилось 56 зубров. С них начались работы по восстановлению этих зверей. Сегодня все зубры находятся на охраняемых территориях.

Обратной дорогой Николай Мосенков молил Бога поскорее послать снегопады.

— Вот ты напишешь про зубров. Найдется злой человек, решит потешить свою охоту. За всеми не углядишь! Скорей бы снег, чтобы дороги наши непроезжими стали. Для лихого человека.

Что русскому хорошо, то немцу — смерть

Так, по крайней мере, говаривали наши старики. С немцами и прочими иностранцами у меня некоторый опыт общения есть. И, доложу я вам, водку они пьют ничуть не хуже нашего. Как-то была у меня в гостях корреспондент Би-би-си, молодая особа лет до тридцати. Сели мы за стол. А у меня как на грех одна водка оказалась в холодильнике. И бежать некуда. Ладно, думаю, наше дело предложить, ихнее дело — отказать.

Налил я ей водки стопочку — под рыбу. Тост подняли, все выпили, а она только пригубила. А потом смотрю и содрогаюсь: она рыбу ест и водкой запивает. И так скорехонько стопочку и осушила. Вот это, думаю, да! Вот это английские замашки. У нас только дед Гарapon мог в водку хлеба крошить да и выхлебать. Так у него стаж алкоголика полувековой.

Сидим дальше, русские народные песни поем, и она подпевает. Черед нового тоста приходит, я ей опять водки, она опять ест и запивает. У меня в компании крепкие ребята сидели, но и тех с души воротит, на нее глядя. А к концу вечера моя английская гостья целую бутылку водки таким вот образом осушила.

Вижу я, что она еле сидит. Вызвал такси, отвез в гостиницу. А наутро нам нужно было ехать в дальний район готовить для Би-би-си передачу. Вышла она чуть живая, бледная, в глазах страдание. Повез я ее в кафе завтракать, купил в буфете сухого вина, думаю, надо девушку поправлять. Налил стаканчик — под котлету. Она пригубила, кушает и винцом запивает. Тут я не выдержал:

— Мадам, — говорю, — дозвольте вопрос нескромный. Ну, я понимаю, у вас, у англичан, принято запивать пищу сухим вином. Но как вы можете запивать ее водкой?

Она потупилась, покраснела и говорит:

— Извините, но я вообще не пью спиртного.

— Как? — воскликнул я потрясенно. — Так зачем же мучили себя?

— Я боялась, — отвечает она, — нарушить ваши традиции и обидеть вас своим отказом.

Так что водку иностранцы пьют. Но по-русски пьют только в России, боясь наши традиции нарушить, а скоро и втягиваются. И в бане, где от жары уши в трубочку закатываются, парятся. И в общепите нашем питаются.

Может, и опасаются, но мы-то ведь там кушаем если не каждый день, то через день. Рисуем собственной жизнью. А не будешь есть, так и вовсе помрешь. Положение безвыходное.

Однажды путешествовали мы по Вологодчине с американкой, графиней Верой фон Вирен Гарчинской. Снимали документальный фильм о русской Америке для американцев. Довольствовались столовской едой. Наберу я с раздачи общепитовских щей, засохших котлет с густотертой охряной подливой или биточков железнодорожных, поставлю перед графиней, она их брезгливо поковыряет и спросит:

— Толя, а ты не знаешь, из чего это все сделано?

На что я ей загадочно отвечаю:

— Увы, мадам, этого не знает никто. Это коммерческая тайна нашего общепита.

— Тогда, может быть, ты ответишь, почему эти биточки называются в меню железнодорожными? Здесь железных дорог на двести верст в округе нету.

— А это потому, — парирую я, — что сделаны они в форме железнодорожных шпал и по крепости своей шпалам не уступают.

Недолго графиня ковыряла вилкой наши котлеты, день на третий уписывала их за обе щеки. Голод — не тетка.

И все-таки я знаю теперь это самое, что для русского хорошо...

Принимал я как-то летом группу давних знакомых из Германии. Долго думал, что бы такое оригинальное изобразить. И придумал. Решил: напекую пирогов, возьму на лодочной станции пару лодок, застелю их половиками, поставлю на корме самовар, и вдоль по Вологде на лодочках с гармошкой — до зеленого лужка... Хорошо!

И вот подвожу я немцев к станции, прошу в лодки садиться, как вижу, что они на глазах бледнеть стали и ужас в глазах прорезается.

— Найн, найн! — кричат. — Цурюк коммен! Москитен! Москитен! Москитен!

Вот так-то. Это только в России говорят: «Много комаров — готовь коробов, много мошек — готовь лукошек. Нет комаров — не будет и овсов».

Так и пришлось коротать вечер в душной квартире за марлевыми занавесками. Что русскому хорошо — то немцу смерть.

Все слова на «О»

У нас на Вологодчине все не так, как у других. Недаром ее раньше шестнадцатой республикой звали. Например, у нас все слова говорят на «О», кроме одного – «кара-син».

Нас даже Гитлер не хотел брать. Вот как было. Поймали наши мужики в лесу диверсантов. Стали документы проверять. Открывают стратегические карты. Понятно. На каждой области свой значок. Если танк нарисован – значит танками брать будут, если машина – значит пехотой пойдут, если парашют – то жди десантников. Только вот на нашей территории никаких значков. Что такое? Мы, что, хуже всех, не люди, что ли? Обидно даже.

Стали этих диверсантов пытать, наконец один сознался.

– Это, – говорит, – сам Гитлер решил: я, говорит, Вологодчину воевать не буду. Пошлю, говорит, им две цистерны спирту да вагон ножигов. Они, говорит, напьются и сами друг дружку перережут.

Живы до сих пор. Вовремя стратегические планы у врага рассекретили. Спирт выпили, а вагон с ножиками архангелогородцам греску чистить отправили.

...До недавнего времени к коммунизму шли, да выходит подзаблудились. Хоть начальство-то у нас хорошее, а вот дорог нет.

Как-то наш инспектор ГАИ останавливает приезжего автомобилиста.

– Почему правила дорожного движения нарушаете? – спрашивает.

Тот возмутился:

– Где тут у вас дороги? Покажите.

Инспектор спокойно отвечает:

– Да, дорог у нас нет, но есть направления.

И вызывает по радию:

– Дежурную группу прошу продвигаться в направлении рынка...

Так что направления у нас есть и начальство хорошее. Значит, куда-нибудь да приведут. Когда-нибудь.

Хозяйство Ломова

— Что ты будешь делать?! Опять недоглядел! — всплескивает он театрально руками.

— Никак жена родила? — удивился я.

— Четвертого! — сокрушенно вздыхает он. — Только на охоту стоит съездить, как в доме прибыток.

Счастливая жена за занавеской кормит малого грудью. Подает голос:

— Егоркой назвали. В честь святого Георгия Победоносца. Этот тоже на пять килограммов родился.

— Богатыри.

— А чего делать? — опять сокрушается хозяин. — Видишь, какой у меня дом? Надо срочно доукомплектовывать. Не то наши придут — раскулачат. Или уплотнят. На первом этаже комитет бедноты разместят, на втором — еще контору какую. А нас — в баню. Хотя, по правде говоря, я и баню строил с таким расчетом. Просторную.

— Тебя не поймешь, где серьезно говоришь, а где шутишь...

— Какие уж тут шутки! Приходит один алкаш, халтурил у меня когда-то. Выгнал я его за пьянку. Вот, говорит, как новая революция настанет, первым записываюсь на заселение в твой дом: имею право. Таких желающих наберется выше крыши...

Только жена в роддом — гости в дом. Обмыть. Я не пью сам-то. Сижу лук перебираю, а гостям выставил. Выпили поллитру, вторую, завели беседы политические.

— Ты, — говорят, — миллионер хренов, нас не жалеешь. А у нас ни работы, ни средств к существованию в нынешних условиях нет.

— Во-во, я, миллионер, сижу вон лук перебираю, а вы, бедные, водку пьете. Козу, — говорю, — заведите. Коза недорого, а три литра молока в день даст. За месяц окупится.

— Не, — отвечают, — мы подождем, когда наши придут. Тогда мы твою корову реквизируем.

— А как доить-то будете? Каждому по титьке.

— Была нужда. Шкуру спустим да на общий котел.

Вот так и поговорили...

Он смеется, и не поймешь опять то ли шутит, то ли всерьез говорит. Веселый человек Эдуард Ломов.

Хотя хозяйство у него в городе, наверное, самое серьезное. Дом двухэтажный сам строил. Сколько трудов и средств ушло. Да и каких средств: собственным трудом добытых. Во дворе теплица на сто квадратных метров с газовым обогревом. В самые лютые морозы лук в ней зеленеет. Большое подспорье. Можно сказать, теплица дает сейчас основные доходы на содержание семьи. В магазинах лук берут под реализацию хорошо.

Магазин свой оптовый фруктовый, машина для перевозки фруктов... Корова с теленком — молоко и мясо, поросята от собственной свиноматки, куры, гуси, утки, две собаки для охраны... Опять же собственная баня во дворе — экономия для семейного бюджета.

— По-умному-то тебя не раскулачивать нужно, а на примере твоего хозяйства организовать школу городского хозяйствования, — сказал я, осмотрев его обширное, практически самодостаточное хозяйство.

— Платную, — добавил он. — А, впрочем, можно и за так. Нашлись бы ученики... А опыт мой простой. Записывай...

— Раньше я в бараке жил. Только женился — барак сгорел. Дай, думаю, дом выстрою, хоть поцарствую. Поехал за длинным рублем на Всесоюзную комсомольскую — пятую домну в Череповце строить, на дом зарабатывать. Домну выстроили, чугуна наварили, из чугуна — стали, из стали тазов эмалированных наштамповали горы. Тут перестройку объявляют. Свобода полная. Хочешь тазы штампуй, хочешь тазами этими торгуй, а хочешь — и вовсе спи-отдыхай.

Ладно, решаю, дом выстрою — отдохну вволю. А денег на дом немало надо. Дай, думаю, я с этими тазами за границу махну, может, какую копейку лишнюю сшибу.

Не я один такой умный оказался. На вокзал с тазами приперся, а там народу — пропасть. Кто пятьдесят тазов за рубеж везет, кто сотню. Вологодские с оптики танковые прицелы торговать наладили, устюжане со щетинки — кисти малярные, со-кольчане — бумагу туалетную...

Два года из России товар за границу как ломовые лошади на себе таскали, пока все не вытаскали. Оглянулись — полки пустые. Надо теперь в Россию товар везти. Поехали обратно с тазами. Теперь уже реэкспортными. Опять при деле. И в кармане шуршит, дом венец за венцом подымается.

...Дом выстроил, корову завел. Сметаны — ложками ешь, сыр — ведрами варю, каждый год еще — по теленку, да навозу гора. Получается безотходное производство. Только чем бы еще корову мою, думаю, загрузить, чтобы она в рыночные условия еще больше вписывалась?

Как-то вечером гоню ее домой, вылетает собака и меня за штаны хватает. Я корове кричу: «Фас!» Та разворачивается и на собаку. За собакой — хозяин. Она и на хозяина. Еле отбил собаку с хозяином. А то бы обоих закатала. Вот, думаю, кто теперь у меня будет дом охранять от воров и рэкетиров. На две ставки. Корова! Вечером подою ее и во двор выпускаю. Муха не пролетит.

...Пруд во дворе выкопал, карасей завел, чтобы в сметане жарить. Только от карася невелик прок. Решил скрестить карася с осетровыми и лососевыми породами, чтобы дома черная и красная икра не переводились.

Рядом теплицу отгрохал. Надумал диковинные плоды вроде ананасов и киви выращивать. Чего их этакую даль везти, когда можно под боком вырастить. Приходит сосед. У него огород с моим рядом.

— Ни хрена, — говорит, — у тебя не получится. Одного электричества на освещение скольк уйдет, дешевле на рынке этот ананас купить.

— А ежели не выйдет, так я не тужу. Крышу рубероидом перекрою, поставлю коров с телятами.

— Молоко и мясо тоже в цене падают, — не отступается сосед.

— Тогда я транспортер навозный поставлю и буду навоз на твой огород оптом поставлять. А ты его в розницу продавать станешь соседям. Обоим выгода. Уж дерьмо-то всегда в цене.

...Бутерброды с икрой каждый день едим. Вкрут пруда клюквы насадил, чтобы на болото не бегать. В первый год урожай больше центнера вышел. На следующий — торговать клюквой пойду. Но и это еще не все. Стал на свой пруд диких уток и гусей подсадными приманивать, чтобы и на охоте ноги не ломать. Поставлю корыто с отрубями рядом, приживаются. Надо жаркое, сейчас — ружье под мышку, выхожу на крыльцо...

Мы выходим с Эдиком Ломовым на крыльцо его городского дома. Топится во дворе за теплицей банька, жена доит корову, дочка чистит на ветру клюкву, на пруду гогочут гуси.

Когда жена вот четвертого родила, хотел было назвать сына в честь нашего демократического правительства Чуберелем, что означает сокращенно — Чубайс, Березовский, Ельцин. Да потом смотрю — учителя бастуют, шахтеры в шахтах забаррикадировались, целые города без света сидят. Нет, думаю, сбросят это правительство, а парню всю жизнь с таким именем и майся. Давай-ка назову его простым русским именем — Данила. А тут у меня корова отелилась. И чтобы нашему демократическому правительству не обидно было, назвал я Чуберелем теленка...

Настой из екатерининского пятака

Недавно решил я заглянуть к одному знакомому фермеру. Двери его избы не открылись – наверное, разбухли от сырости. Я дернул сильнее и услышал, как там внутри что-то грохнуло и следом раздался приглушенный мат. Но двери открылись.

На полу сидел фермер и держался рукой за щеку, изо рта у него торчала толстая рыболовная леска, привязанная к дверной ручке.

За последнее время я уже стал привыкать к разным деревенским казусам и поэтому не удивился. Мало ли за какой надобностью человек изудил себя? Может быть, таким образом он протестует против аграрной политики молодых реформаторов? Или поддерживает их...

– А ну, – обратился ко мне фермер, – зайди еще раз, да дерни посильнее.

Я повиновался. На этот раз дернул ручку дверей изо всех сил. Снова в избе что-то грохотало, и следом раздалась стена и опять же матюки. Фермер снова сидел на полу и держал в руке окровавленный зуб.

– Вот спасибо тебе! Избавил от мук, – сказал он с трудом.

– Спасибо? – хмыкнул я. – В городе бы с тебя за такую услугу тысяч сто содрали. Не меньше.

– Потому и не еду в ваш город. Чтобы зубы залечить, надо последнюю живность со двора свести, – простонал фермер. – А на хрена и зубы, коли жевать нечего?

– Да, теперь медицина не по нашим зубам, – встряла жена фермера. – На таблетки денег нет. Лечимся самостоятельно. Подручными средствами. Дешево и сердито.

Не слышал, как Иван Деянов бабу свою от радикулита вылечил? Вот скрутило ее, а он: давай, говорит, спину тебе скипидаром натру. Она спину оголила, нагнулась, Иван скипидару в пригоршню налил да на спину. А скипидар по спине да по желобу и протек в причинное место. Как она, сердешная, подхватилась да бежать... Дак сколь кругов по-за деревне дала – не сосчитать. Радикулит как рукой сняло.

– От радикулита ишо одно средство радикальное есть, – поддержал фермер жену. – Надо голой задницей в муравейник сесть и сидеть, доколе мочи есть. Говорят, хорошо оттягивает.



— Или теплого конского навоза приложить...

Я не стал далее вникать в тайны народной медицины и спешно ретировался.

А тут и у самого несчастье случилось — в аварию попал, разбился сильно. Друзья мои деревенские, про беду прослышав, стали мне письменно и устно народные рецепты предлагать. Старый мой знакомый изобретатель из деревни Горка для скорейшего сращения костей советовал «взять пятак 1792(!) года и мелким напильником настрогать на газету опилки с него примерно 0,2 грамма, собрать аккуратно их хлебным мякишем и есть». Рецепт прост. Где бы вот только раздобыть пятак екатерининских времен?

Пооклемаюсь малость, приехал я с товарищами в свою деревню. Затопили печь, заварили чай. Видим, к нам сумерничать правит соседка Нина Ивановна Крюкова. Еще с порога заявляет:

— Толька! Я тебе лекарства своего принесла. Всякую болеть снимает. Эта племянкин сынок приезжал, поступил в военное училище, девки заглядываются, а сам прыщом весь пошел. Уж чем только его не лечили, а все без пользы. Я его своим снадобьем и намазала — через двое суток парник хоть под венец. Лицо — ровно у девицы красной. Так все и охнули!

Она полезла в карман пиджака, долго шуршала там бумагой.

— Что хоть за снадобье? — спросил я, настораживаясь.

— Да сало свиное. Шпик.

— Шпик? — удивился я.

— Шпик, шпик, — подтвердила бабка. — Мы раньше-то с мамой много поросят держали. Вот и осталось. А мама-то у меня когда померла? Она подняла к потолку глаза и, тихо шевеля губами, стала подсчитывать годы.

— А вот уж двадцать пять лет, как мама померла, — значительно сказала она. — Так и салу, считай, двадцать пять годов.

Она вытащила, наконец, из кармана промасленную бумагу и развернула ее торжественно. Комната наполнилась невообразимо тяжелым, приторным запахом продукта, которому насчитывалось четверть века. Сало имело ядовито-желтый с прозеленью цвет и вовсе не внушало доверия.

— Чего у тебя болит, сказывай? Колено? Вот и намазывай колено моим лекарством.

Колено в то время у меня и в самом деле болело сильно, не помогали ни самые рекламируемые мази, ни компрессы, ни физиопроцедуры. То ли от отчаяния, то ли не желая обидеть добровольного лекаря я, отвернув нос, натер бабкиным снадобьем больное колено.

— К завтраму как рукой снимет, — авторитетно пообещала бабка. Сало я вынес в коридор на холодок, и мы сели пить чай.

Когда собирались домой, бабкиного снадобья я не обнаружил.

— Кто взял сало? — громко спросил я. Товарищи развели руками, ничего не ответила и собака моя, только опустила виновато глаза.

Дорогой пропажа дала себя знать. Пес мой устроил в машине настоящую газовую атаку. Не помогали даже до предела открытые окна. Казалось, что пропавшему салу не четверть века, а, по крайней мере, века два.

Но что самое удивительное в этой истории, так это то, что колено мое на следующее утро не болело, не болит оно и до сих пор.

В узилище

У фермера Петра Анфалова среди зимы пропала корова Малина. И пропала она самым таинственным образом. Бесследно.

Петро пришел в обед на двор подоить кормилицу, а кормилицы и нет. Вкрут двора снег суметами лежит, одна только узкая тропка от дома коридором пробита да около двора площадка натоптана самой Малиной: Петр ей, по науке, зимние прогулки устраивал. И все. Следов похищения или побега не оказалось. И Малины не было

Петр заполошно выскочил на улицу, обежал свои владения, ломанулся было в деревню, да одумался. Сел на опрокинутое ведро, охватил руками голову, загоревал тяжко. И тут слышит он, что откуда-то, словно из подземелья, доносится глухое мычание. Прислушался: точно мычит. Малина! Пошел на голос: мать честная!

Еще летом Петр решил рядом со своим новым домом сделать погреб. Дом стоит на высоком речном берегу. По переду дома и выкопал Петр ямищу размером три на четыре метра, тесом обшил, сусеки устроил. Туда и картошку, и капусту опустил, и морковь, и свеклу... Над погребом навес настелил, а вот сам погреб закрыть не успел. Положил еловые плахи, а поверх их стал складывать овечьи объеды – сено, которое овцы недоедали. Сам себя за сметку хвалил. Тепло. А тут еще и Малина, выйдя на прогулку, заглядывать стала под навес. Нагуляет аппетит, похрумкает объедями. Тот Петру радости. Будто бы безотходное производство налаживаться стало...

И вот заскакивает Петр под навес и видит, что плахи над погребом разошлись и из погреба жалобное Малинино мычание исходит. Чиркнул Петр дрожащей рукой спичку, заглянул в утробу погребную: ах ты мне! Одни рога Малинины торчат. Провалилась Малина в погреб!

Ох и забегал поначалу Петро. Тащит лебедку, коей пеньки на пожне корчевал, тащит парашютные стропы, на армейской службе приватизированные. Стропами Малину опутывает, лебедкой из погреба пытается поднять. Да где там! Тут кран подъемный нужен. Стropы на Малинину шею удавкой сползли, едва успел топором перехватить, остался бы вовсе без коровы. А так пусть и в погребе, но корова.

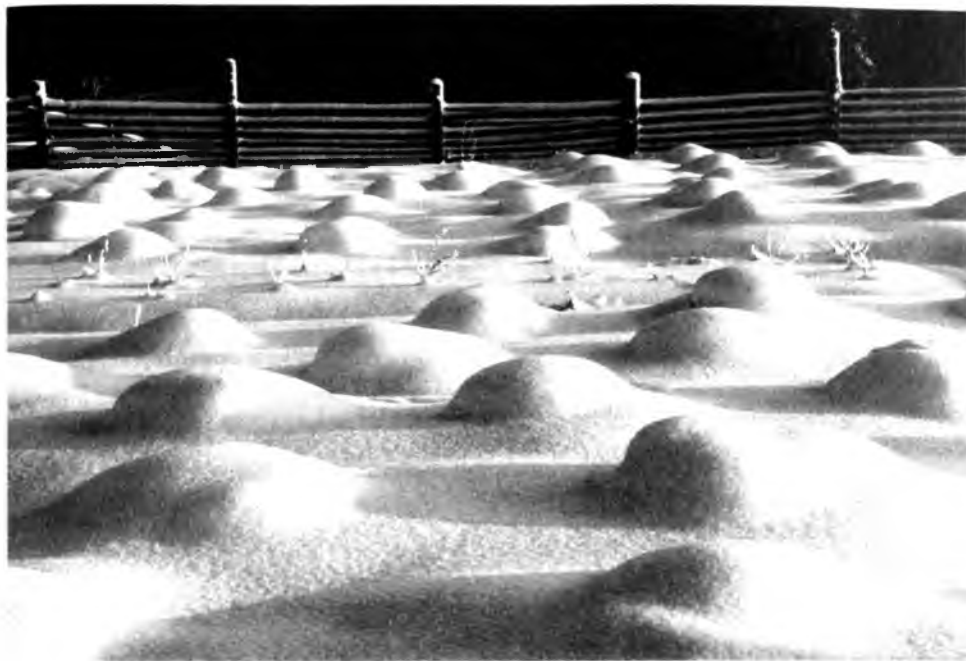
Подня простояла Малина в узилище своем, обвыклась, стала морковку хрупать, капусту жевать. Тепло. Вроде бы и понравилась новая квартира. Петро прибежал, самолучшего сена на веревке спустил, бадью с пойлом. Соломы под бочину кинул. Вечером по лестнице с подойником лезет...

Неделю простояла Петрова корова в погребе. Прибавка в надоях существенная образовалась. Петр и обрадел тут. А так хотел уже резать Малину-то да частями доставать.

Дело к лету пошло. Трижды в день Петр к корове в погреб ныряет. Корова в надоях рекорды бьет. Раньше про свою беду помалкивал. Не дай Бог, деревня узнает — засмеется. А теперь в пору в газете с передовым опытом выступать.

Ночами долгими придумал Петр прокопать по весне, как оттает земля, от берега траншею в погреб, вызволить Малину на свет Божий. А к осени — той же траншеей опять кормилицу в погреб! На большое молоко!

Вот так. Учись народ из беды пользу извлекать.



По холодку

В каждой избушке, говорят, свои погремушки.

Один мой знакомый, например, может спать только в своей квартире, на собственном диване. И нигде более. В любом состоянии из гостей домой пробираться будет. Хоть по-пластунски, но поползет.

Не знаю даже, хорошее или плохое это качество, но вот как-то гулял он на юбилее товарища. А товарищ в деревне километров за пятнадцать от города живет. Праздник, как водится, далеко за полночь перевалил, ухороводились, петухи уж по дворам загорланили, хозяева гостям плацкарты застилают, и нашего ценителя семейного очага на сон повело. А вот приклонить головы к чужой подушке он не может. Не в его это правилах.

Жену в бок толкает:

— Пошли домой!

Та, понятное дело, протестует:

— Что я дура — пешком пятнадцать верст засвистывать. Через три часа и так автобус в город отправится.

— Нет, пойдём!

— А иди, охота дак, один.

И пошел. Заря утренняя на небе играет. Коровы по холодку травку росную кушают, на обочине знакомый пастух папироску раскуривает.

Покурили вместе.

— Не спится?

— Да вот, парень, история какая. Домой правлю. Не могу в гостях спать.

И дальше пошел. Скоро попадает встречный «каблучок». Опять знакомый едет, остановился:

— Куда это ни свет ни заря при галстукке?

— Да вот, парень, история какая... Не могу, понимаешь... А сам-то?

— Да я за картошкой. И обратно в город.

— О! Тогда меня захвати.

Сел в «каблучок» да опять в деревню. А тут выясняется, что знакомый его прежде картошки-то накопать должен. Часа два как минимум надо. Заматюкался наш герой и — на прежний курс.

Идет, злой, мимо пастуха:

— Все пасешь?

У того челюсть от испуга задрожала:

— Пасу-у. А ты куда?

— Куда, куда? Домой.

И резвой походкой далее. Километра не отошел, хлоп по карманам... Ключей нет! В сумочке у жены ключи для сохранности были.

— А-а! Пропади оно все пропадом!

Слава Богу, опять встречная машина. Молоковоз. Остановил, в кабину и — до деревни. Ключи забрал — и опять в дорогу.

Мимо пастуха идет:

— Ты бы хоть коров-то от дороги отогнал!

Обернулся пастух, вскрикнул не по-хорошему, кнут бросил и к лесу бежать. Еле, говорят, поймали пастуха. Да потом лечили долго.

Всяк по-своему с ума сходит.

Чудеса за околицей

...В одном деревенском доме разговорились с хозяином о разных чудесах, хозяин и разоткровенничался:

— Вот такая была история: вечером идут два дачника, муж с женой, из Чаромского в наше Тимшино. Видят, на картофельнике чего-то такое большое, темное шевелится. Жена-то и говорит: «Кабан!»

Муж-то на нее: «Какой, к лешему, кабан! Кабан на двух ногах не бывает!» Да и присвистнул. Тот как вскинется во весь-то рост да махами, махами в лес...

Наутро я соседу Сашке говорю: «Бери ружье да пойдем к тебе на картофельник, следы поищем. Что за странное чудовище там у тебя паслось?» Пришли, а ни следочка, ни тининки выдернутой.

Сашка и говорит: «Ты никому не рассказывай больше, засмеют...»

И то правда. А назавтра я корову пошел навязывать. Что такое — человек из лесу идет. Размашисто так шагает, ловко и словно согнувшись. Думаю, грибник какой, что ли, заблудился, домой пробирается. Он, может, и поближе ко мне бы подошел, только я сдуру цепь с плеча на плечо перекинул, она и сбрыкала. Гляжу, а грибник-то мой как вскинется да глазищами на меня как сверкнет, развернулся — этакая-то махина — и в лес махами.

Он не бежит, а ловко так шагает, словно приседая. Вот это, парень, встреча так встреча... Тут не грибником пахнет. Грибники в шерсти не бывают.

Домой пришел, старухе говорю, та руками на меня замахала: «Ицо какого лешего тебе привиделось. Молчи знай, народ-то и так смеется...»

А мне не до смеху. Вдругорядь к корове в поле пошел. Вижу, опять из лесу этот же «грибник» правит. У меня такая хорошая тропа была набита, а он овсом идет. Мне бы догадаться за корову лечь, так получше бы разглядел. А я стою. Как он меня оглядел, как вскинется опять и в лес...

Следующим днем за грибами пошел. Режу боровики. Собака со мной. Такая собака, что ни лося, ни медведя не заботится. А тут шерсть дыбом, оскалилась и в ноги ко мне. Тишина стояла звенящая. И веришь ли, чувствую на себе взгляд, тяжелый такой, недобрый, от которого мурашки по коже поползли. «Это он, — думаю, — «грибник» мой. Дай обойду тихонько лесочек, может, и увижу его». Поднялся было, собака не



идет, в ноги суется, дрожит. Тут что-то треснуло в лесу, слышу — шаги на уход. Я и сам развернулся да к дому...

Историю эту я записал в деревне Тимшино Шекснинского района у Викентия Ивановича Александрова. Тот поначалу сомневался: рассказывать ли ее.

– Вот, – говорит, – скажут, что мужик либо выпил лишку, либо у него с головой не ладно... Какие снежные люди в наших краях-то!

Впрочем, Викентию Ивановичу, что видел он шерстнатога «грибника», местное население верит на слово. Потому как в этих краях каждый видел что-нибудь такое, чему поверить трудно. То огненные шары диковинные по небу летают, по полю катаются, то космические пришельцы высаживаются, то летающие тарелки приземляются, то огненные столбы вокруг деревни ходят, то земля начинает трястись так, что посуда в шкафах звенит...

Йонас, фермер из деревни Назарово, с женой Риммой нагляделись этих чудес досыта. Сначала в диковинку было, а теперь привыкать стали. Римма даже месяц болела, понаблюдав огненные столбы за околицей. Кожа вся слезла. Теперь они стали сожалеть, что переселились в Назарово. Ненормальное какое-то это место.

Особенно весной заметно. В Чаромском, соседнем селе в трех километрах, уже трава в лугах, уже скотину пасут, а на Назаровских угорах — сугробы снега. Есть в лесу такое место, где компас показывает вместо севера юг, а в ложбине между Тимшином и Назаровом даже в самую тихую и теплую погоду — студёный ветер.

...Вместе с Йонасом и Риммой отправился я на место недавней посадки НЛО. Три круга на траве, словно причесанной каким-то таинственным гребнем странным образом, волновали сердце каждого, кто их видел. В двух кругах — по часовой, в третьем — против. Машину я оставил на том самом аномальном угоре, а когда вернулся к ней через полчаса, аккумулятор был полностью разряжен.

С чего бы это? Может, какой «грибник» поковырялся?

Холодно!

Перед самым Новым годом путешествовали мы с заезжими артистами по Вологодчине. Артисты были хорошие, концерты интересные, прием – самый теплый. Но вот ударили николевские морозы. Да такие, что птицы на лету коченели. Потом рекорд, говорят, был отмечен: пятьдесят два градуса ниже нуля!

Сидели мы безвылазно в гостинице, укутавшись в одеяла. Но ведь и кушать хочется. Кинули жребий: кому в магазин бежать за провиантом.

Бедный наш гусяр Геннадий Иванович! Перекрестили мы его, увязали шарфами по самые брови поверх шапки, двери отворили и – словно в омут головой в самую лютую стынь!

Через полчаса возвращается весь в инее, но глаза радостно сверкают. Распутали его, а он:

– Ребята! Я такое видел... Вот он настоящий вологодский дух! Подлетаю к магазину, а там стоит девчушка в полушубке у крыльца и вроде как бы семечками торгует. Покупателей нет, так у нее стая воробьев на мешке кормится. Мало того, она их не гоняет, так рукавицей из мешка семечки черпает и еще голубям на снег сыплет...

Чуть отмякли морозы... и снова в путь. Местный водитель нахваливает одну лесную столовую.

– Котлеты, – говорит, – там в рукавицу, в супе мяса – горой. И все – за копейки.

Заехали пообедать, и верно. Такие уж умелые да щедрые розовощекие, улыбочивые поварахи... А тут дверь столовки отворяется, и в клубах морозного пара появляется радостный молодой лесоруб в полушубке нараспашку. Поворачивается он назад и командует:

– А ну, ребята! Заходи! И вваливаются за ним около десятка разномастных деревенских псов и чинно усаживаются под столами.

– Девки! – радостно командует лесоруб. – Наливай! И мне, и товарищам моим.

Так все вместе и отобедали. Кто за столом, кто под столом. Эх, и вкусны же были эти лесные вологодские щи с мороза! Да еще за такую веселую компанию...

«Что я вам скажу...»

— А я вам, ребята, вот что скажу... — Василий Васильевич щурится сквозь стянутые резинкой толстые очки, гордо подымая седую голову на худой морщинистой шее, прокуренный ус его воинственно топорщится.

И молчит. Молчит многозначительно, выжидающе, требуя тишины и полного доверия ко всему, что будет сейчас сказано. А сказано (э-э, надо знать старого рыбака Василия Щербакова!), сказано будет такое, что трудно удержаться да не бухнуть кулаком в стол:

— Ну, старый, ну, загнул!

Но не дай Бог, если даже ироническую ухмылочку твою заметит — тотчас замолчит, улезет на печь и слова от него не добьешься. Будет высокомерно попыхивать папироской. Мол, экой вы, молодяжка, народ несерьезный, неча на вас впустую время тратить.

Василий Васильевич раньше работал бакенщиком. Вся жизнь на Шексне прошла. Видел времена и порядки разные. Рыбу лавливал, какая нам и не снилась. И стерлядку, и белугу, и самого батюшку сома.

Мы же промышляем теперь окуньками да плотвичками на просторах нового рукотворного моря. И в доме старика Щербакова всегда находим пристанище, певучий самовар да его бывальщины.

— Так вот, жил на Черной Гряде рыбак, — начинает неторопливое плетение рассказа Василий Васильевич. — Фамилья я его не помню, а по прозванью был Пузырь. Так этот Пузырь белугой промышлял.

За день отмеряли мы с приятелем в поисках добычливых мест километров двадцать. Самовар да стопочка «с устатку» доконали нас окончательно. В ногах — что мельничные жернова, в глаза хоть спички вставляй.

— Так вот. Откует Пузырь в кузнице крюк, наимаает судаков фунта по два на живца и идет на лов. Заместо жилки веревка пеньковая.

...Домишко Василия Васильевича стоит обочь деревеньки на косогоре. В окошко видны посадки, сбегаящие к реке, баньки на задворках, почти вплотную подступают к воде, словно собралась стадно на водопой.

Из-за реки катят на деревню изодранные, грязные тучи, просвеченные снизу запавшим в болотах солнцем. Слышно, как далеко по реке протяжно ухает — бьют сваи под новый шлюз. Северная сторона неба отсвечивает, словно кто-то большой пытается зажечь в ночи огромную спичку и не может зажечь.

Я вижу, как от крайнего домика спускается к реке мужичонко в драной фуфайке, с бухтой веревки в руке и деревянной бадейкой, сталкивает в плескучую зыбь рано остывшей реки утлую лодчонку.

— Вот, паря, наживит он на крюк того судака, наматает веревку на ногу и таскает снасть буксиром на глыби. Иной раз сутки-двои дома носу не кажет, пока брюхо вовсе к хребтине не подволокет.

Голос Василия Васильевича звучит глухо, будто из подвала, то пропадает совсем. Я отчетливо вижу иззябшего Пузыря, сутулую его фигуру в одинокой лодке среди темной зыби. Он гребет окоченелыми руками, гребет, и гребет, и гребет, и гребет...

Но вот лодка, словно натолкнувшись на преграду, стопорит резко, весла, беспомощно махнув в воздухе, выворачиваются из уключин, прыгают белыми пятнами на течении. Пузырь лежит на дне лодки, шпангоуты врезаются ему в бока, дырявый сапог с намотанной веревкой торчит за кормой.

— Взяла, язви ее! — радостно кричит Пузырь и дрыгает ногой. Но в ответ получает такой удар, что сразу же затихает. Лодка стремительно несется в ночи.

Мелькают на берегу домишки, деревья, мелькнул копер. Пузырь ухнул. Отмахали уж верст десять. А сил у рыбы не убывает. У Пузыря нога занемела, он давно уже мог бы скинуть сапог, но сапога жалко — они у него последние.

— Очнись! — приятель мой больно тычет меня в бок. Оказывается, я бессовестно сплю, однако старик сослепу не замечает.

— Так вот, паря, на белуге до Череповца и катит. Вымотает ее, к лодке причалит, веревку под жабры пропустит и... поехал. А в городе у пристани встанет. Народу соберется, что на ярмарку. А Пузырь за погляд — с каждого по пятаку, шапку по кругу пустит. А уж потом за вожжи потянет, белуга-то и всплывет. Экая-то дура! По шестнадцать пудов лавливал.

...За окном набирает силу ночь. Мы идем с товарищем на сеновал, забираемся под полог. Однако сон уходит вдруг, лежим, вслушиваемся. Река не спит. Из темноты доносятся режущие воздух звуки моторных лодок. Сколько их? Десятки, сотни, тысячи моторизованных, вооруженных современнейшими снастями рыбаков и охотников.

Под утро мне снилась темная река, одинокая фигура в лодке. Пузырь выгребал на течение, шурил на меня сквозь толстые стекла очков хитрые глаза, и прокуренный ус его воинственно топорщился.

«Свинарка и пастух»

На галдарее появляется писанная чернилами афиша: «Вечером в клубе будет демонстрироваться кинокартина “Свинарка и пастух”».

Вот уже несколько лет подряд в кино, даже на самые захватывающие фильмы, ходит не более пяти человек. Старик Ионов, крестьянин интеллигентного склада, прочитавший в библиотеке всю мемуарную литературу, заведующая почтой молодая вдова Зоя, бесшабашная доярка Верка, не уехавшая из деревни лишь потому, что с четырьмя классами в городе делать нечего, жена киномеханика да какой-нибудь отпускник.

Но на этот раз клуб оказался битком набит. Собралось, кажется, все деревенское население, и даже дед Петро Стогов пришел, стуча своим посохом по скрипучим ступеням клуба.

И вот на экране ухоженная северная деревня, березовые перелески, высокие дома с резными крыльцами, прометенные улицы, полные молодости и веселья. Бойкая босоногая свинарка — Марина Ладынина и красавец парень — Николай Крючков, растягивающий меха гармошки:

Стоит мне милашке Глашке
Левым глазом подмигнуть,
Как ко мне милашка Глашка
Камнем падает на грудь.

Когда закончился этот фильм, в зале стояла полная тишина, лишь слышно было, как трещат папиросы у мужиков, дымивших у порога.

Народ не поднимался с мест. И тут раздался чей-то голос:

— Анатолий! Рязанов! Крути по новой!

И снова появились на экране Марина Ладынина и Николай Крючков с гармонью, деревенские улицы, полные молодости и веселья, и снова зал затаил дыхание.

Не положено!

В зелени и тепле плавится май. Ручьи, уставшие от паводкового разгула, чуть слышно звенят на перекатах, жаворонки колоколят над головой. Из сырых низин накатывают волны хмельных запахов талой земли и цветущих медово ив.

Добираюсь домой на перекладных. На старом череповецком тракте подбирает меня колонна грузовиков, везущих в дальний Мусорский угол семена и удобрения. Однако радоваться еще рано. Скоро бетонка кончается, и колонна встает.

На границе с насыпной дорогой перекинут огромный, изо всего леса, осинный шлагбаум. Из маленькой, сколоченной наспех будки вылезает старик в бродах, зеленой пограничной фуражке без кокарды.

— Не пушу! — решительно машет он руками. — Поворачивай!

...Вот оно что! Дорога на распутицу закрыта. Закрывают сельские проселки каждую весну, и каждую весну между дорожниками и шоферами идет упорная война.

— Покуражится да пропустит, — спокойно уверяет меня шофер и вылезает на обочину покурить.

Старик молчаливо оглядывает колонну, сдвигает на глаза фуражку, чешет седой затылок:

— Впустую, мужики, стоите. Сказано — не пушу!

Он поворачивается к будке и начинает обстоятельно пластать топором короткий чурбачок на дрова. Скоро над будкой занимается кислотовато-горькие куржавчики дыма. Дед собирается чаевничать.

Уверенность у шоферов падает.

— Эй, батя! — кричит шофер головной машины. — Ты это кончай! Нам ехать надо.

— А ты езжай, — выглядывает старик из окошечка. — Только в обратную сторону. Через город езжай. Чай, своя дорога есть. А нашу-то есть кому и без вас бить.

— Да ты в уме, старый! Что нам, двести километров крюк делать? — начинают кипятиться мужики.

— Мое дело маленькое.

— Да ведь посевная, бюрократ ты в ботах! Семена везем, понял?

— А ты, гражданин хороший, не кричи. Есть повыше начальство. Товарищ Бурыйшев строго-настрого наказал без документов не пущать, — отвечает сторож.



- А это что? Филькина грамота? — шофер потрясает потрепанным пропуском.
- А вот мы и посмотрим: Филькина али товарища Бурышева.
- Старик лезет в карман за очками, долго шевелит губами, рассматривая бумаги.
- Не пуццу! — наконец все так же невозмутимо говорит он. — Товарищ Бурышев наказал только с красной полосой пуццать, а у тя — синяя. Не стой, батюшко, не стой!
- Ла-дно-о, — скрежещет зубами парень. — Ладно, старый пень.
- Он со злостью пинает камень на обочине. Камень плюхается в канаву, пугая лягушек. Шофер кривит рот — зашиб палец.
- Я тебя, старая кочерыжка, в будке запру. Будешь тут всю ночь куковать.
- Не выйдет, милый! — ласково возражает старик. Лицо его раскраснелось от чая и полно благодушия. — Я уж и номерки ваши на гумажку списал. А то этга и в самом деле ваши, нет ли мужики батожок к дверям приставили. Учен.
- Этак его не возьмешь, — говорит мой шофер. — Тут нужна дипломатия.
- Он идет к мужикам на совещанье. Солнце уже скатывается к вершинам леса, стряхнувшего зимнюю дремоту. Слышно, как под гулкими сводами сосен бормочут косачи и где-то далеко в просыхающих полях ровно гудят тракторы.
- Мужики толпятся у будки.
- Постно кушаешь, батя. Пустой чай душу не греет. Пуншиком не балуешься?
- Не потребляю!

— Али старуха ругает?
— Я, милый, на службе не пью.
— Ой ли? Поднести, может?
— Отказываюсь категорически. Ты меня на подкуп не бери. У меня самого старухе наказано в лавку сбежать. Кончу дело — гуляю смело.
Мой напарник возвращается, сердито падает на сиденье.
— В объезд не тронусь. Ночь просижу, а высижу. Всяко уйдет домой либо уснет.
Тоскливая тишина надолго воцаряется на дороге. Лишь ошалевшие от любви лягухи радостно и безмятежно славят и славят такой простой и справедливый мир.
— Эй, генерал! Подымай бревно, — совсем безнадежно окликает старика шофер передней машины, самый молодой и нетерпеливый.
— Не подумаю! — дед берет топор и принимается докалывать чурбачок.
Де-то в середине колонны раздается вдруг пронзительный визг. И вслед за ним крепкая ругань. Тут же визг повторяется, становится все яростнее и отчаяннее. Старик поднимает голову, прислушивается. Визжит поросенок. Ругается шофер. Еще утром купил он его на свинофабрике, везет домой. Поросенок оголодал за день, бунтует.
Дед торопливо семенит к машине.
— Никак, кабанчика купил? — спрашивает заинтересованно шофера.
— Купил! — огрызается тот. — Тебе что за забота?
— А как жо? Подохнет чай. Деньги плачены. Ну-ка, покажь!
Он стаскивает мешковину с корзины, радостно сдерживая брыкающегося поросенка.
— Добрый кабанчик, добр. Я этта сам из города привез, кабанчика-то. Еле-еле со старухой отходили. Оправился, не сглазить бы.
Он торопливо бежит к шлагбауму, распутывает узел веревки. Лесина, качнувшись, медленно ползет вверх.
— Езжайте, езжайте, мужики. Бог с ним, с Бурышевым. Лишь бы кабанчик не сдох...
Весело бегут машины по просыхающей дороге.
Еду, радуюсь, что засветло еще буду дома. И тоже весело повторяю: «А добрый кабанчик! Добр».

Паломница

Более унылой осенней поры я, кажется, не помнил. С Сашей Преображенским, водителем старенького, громяющего кузовом грузовичка, пересекали мы в конце октября девяносто первого года Вологодчину, пробираясь под самую застреху ее на северо-восток. Дорога была пустынна. Лишь изредка пролетал тяжело КамАЗ, груженный дачными срубами для Москвы, и снова тишина. Ни привычных для этой поры хлебных караванов, ни тракторов с трестой, ни машин с товарами для сельской глубинки. Угрюмые, промокшие до мозга костей, разрушенные наполовину деревушки, в которых и жизни, казалось, уже не теплилось. И тяжелые хлеба по обочинам, не тронутые жаткой хлеба куда ни кинь взгляд – не хватало техники, не было горючего, запчастей... Да еще это небо, темным брюхом осевшее на пропитанную холодной влагой землю...

Унылая пора, очей... увы... унынье. Что впереди? Бескормица? Бесхлебье? Мор и глад? Конец тысячелетней России, конец бытия...

Саша уже который десяток километров напряженно молчит, и я вижу по лицу, как тяжело на душе у него. Молчу и я, не в силах сказать что-либо. Но вот на склоне дня мелькнуло видение: на задворках деревеньки старушонка косою-литовкой косит овес. И что-то колыхнулось в душе, и я начинаю вслух размышлять о том, что в общем-то мы христиане, что вот и кресты на нас, а в христианстве уныние – это один из самых смертных грехов.

Скоро сама дорога отвлекает нас от тягостных дум. Где-то уже в темноте за Рослятином кончается асфальт (ох уж эти коммунисты, не успели достроить каких-то двадцать-тридцать километров дороги на восток), и мы погружаемся в жидкое месиво грунтовок. Каким-то чудом машина продолжает двигаться, видимо, сама отыскивая колею, темень сгущается и становится жутковато. Однако впереди мы обнаруживаем по огням таких же ночных бродяг и через полчаса пристраиваемся в хвост колонне леспромхозовских тягачей. Под утро, измученные и грязные, мы выбираемся на асфальт. Саша решает часок подремать, я тоже с удовольствием вытягиваюсь на сиденье.

...Кажется, прошло всего мгновение, а Саша уже прыгает перед машиной на бетонке, пытаясь сбросить сон. Серый рассвет нехотя растекается из-за лесных увалов.

Сыро, промозгло... Надо ехать. Какая благодать – лететь километров этак под восемьдесят, чувствуя под колесами уверенную твердь! Светлеет горизонт, и на сердце светлеет. Где-то за Подболотьем видим на дороге женщину, глухо закутанную в платок. Она несмело поднимает руку. Садить двоих пассажиров в «газик» не положено, но что поделаешь – наверное, не зря поднялась эта женщина в такую рань.

Мы ужимаемся в кабине, и пожилая женщина, стесняясь причиненного неудобства, сырости, которую она принесла в кабину, раскаянно молит простить ее, «непутевую».

– Сегодня в пять утра из дома вышла, вот все иду. Иззябла. Шесть машин прошло – ни одни не посадили.

– А куда идете в этакую непогоду? – спросил я.

– На богомолье, милые, иду, да ноги худые стали, не несут меня, грешную. Пятнадцать километров прошла, а еще до Аргунова семнадцать осталось. Не осилить, не успеть.

И она опять принялась извиняться.

– Вы лучше расскажите, кто вы и зачем вам нужно такие муки принимать? – стали спрашивать мы.

Женщина оправила платок, посветлела лицом.

– Лежала я с одной женщиной в больнице, и рассказала она, что в их краях есть святое место – раньше церковь была, потом ее изничтожили, а люди все равно ходят и молятся. И такой силой чудотворной то место обладает, что многих излечивает от болезней неизлечимых, – она вздохнула. – А наш-то Рослятинский край – безбожный, все, что было святого, порушено. Люди про Бога забыли, себя забыли. В грехе-то, прости Господи, как свиньи в грязи. Работать негде, да и невыгодно, не платят ничего. А тут вот в Рослятино китайцев прислали, аж сто пятьдесят человек. Больницу строить. Китайцы работают, а свои без дела слоняются.

– Нельзя к вам в Рослятино китайцев, – сказал я. – С китайцами никто не может соревноваться. Китаец работает по двадцать часов, спит там, где работает, а еды ему на день – чашки риса хватит. Да и плодятся они, как саранча. Через десять лет ваш край из русского в китайский превратится.

– Ваша правда, – отвечала покорно женщина. Потом встрепенулась. – Наши мужики и так уж между собой говорят: «Будя вилами придется переколоть». Прости меня, Господи, грешную... Рассказывать тошно. Вот я и решила в Аргуново на Бор идти, поклониться святым местам да у Бога прощения за всех попросить.

...Вскоре мы подъезжали к Аргунову. Машина взобралась на крутой угор, и взору открылась удивительная панорама. Неожиданно сквозь тяжеленные тучи прорвалось солнце, озарив холмы и долины. От всех деревьев проселками, тропками, большим бетонным трактом стекались люди к небольшому холму с кладбищем и сосновым бором на вершине. Весь этот холм был заполнен такими вот старушками да редкими среди них стариками.

Радостно пестрели женские платки, слышно было пение псалмов, в центре толпы священник в праздничном облачении размахивал кадилом.

Мы простились сердечно с попутчицей, и она всем существом своим устремилась туда, где народ возносил молитву своему Творцу.

Я обратил внимание: на соседнем холме в Аргуново стояла большая, хорошо сохранившаяся церковь. Но не было у нее праздничного народа, а на крестах ее хрипло граяли вороны.

И я вспомнил тогда историю этого места. Когда-то, в пятидесятые годы, на этом холме стояла церковь, особо чтимая народом. А здешний секретарь райкома слыл большим борцом с «опиумом для народа». Церковь приказано было взорвать. Прибывшие саперы сделали свое дело на славу, разметав храм на щебенку. Но чудо – религиозный пыл в народе не угас, а возгорелся с новой силой. Уже не десятки, а сотни людей стали собираться на месте разрушенной церкви, молиться, превратив в иконостас огромную сосну, стоявшую неподалеку. Тогда секретарь приказал спилить и сосну. Тщетно. Стали поклоняться пню этой исполинской сосны. В ярости секретарь приказал взорвать и пень. Щепки его разнесло на сотни метров. Люди собирали их и уносили по домам как святыни. Они, говорят, до сих пор хорошо помогают от зубной боли.

Нет теперь на Бору ни церкви, ни сосны, ни священного пня. Но каждый праздник идут сюда паломники со всей Никольщины, идут из соседних районов, и приходит их уже во сто крат больше, чем ходило тогда в эту церковь в те пятидесятые годы.

...Я рассказал Саше эту историю, и мы долго молчали. Потом он философски заметил:

– Гитлер тоже думал, что он за две недели завоюет Россию.

– А Наполеон не предполагал, что закончит жизнь на острове Святой Елены, – подхватил я.

Саша прибавил газу. Россия лежала по сторонам. Не было в душе прежнего уныния.

Топор — не в укор

У нас на Вологодчине, в краю лесами богатом, если хотят кого-то похвалить да за сноровку отметить, так говорят: «Этот мужик топор на ногу не уронит!»

Плотников у нас год от года не меньше становится, а даже наоборот у древнего этого промысла популярности прибывает. Так случилось, что в конце двадцатого века, на краю нового третьего тысячелетия топор снова стал для большинства селян кормильцем и поильцем наряду с коровой.

Вологодские мужики топорами машут, срубы для дач и бань мастерят да в Москву отправляют. Москва вологодскими банями, как в свое время ракетными поясами, не один раз уже опоясалась. Отмывается, стало быть. А вслед за москвичами и сами плотники до собственных хором разохотились. Как ни трудно время, как ни донимают цены да инфляция, но и в наших деревнях новостроек прибавляется.

Любо дорого послушать — так дружно стучат топоры. Артельная каша, говорят, гуще кипит. Дружно не грузно, а врозь — хоть брось.

И вот решились вологодские плотники на большую артельную работу: со всех концов области съехались самолучшие плотники, чтобы в мастерстве посоревноваться да еще, поминая старину, в один день поднять обьденную часовню. Праздник получился на славу, какого, говорят, не бывало еще... На территории музея деревянного зодчества под Вологодой собралось теплым августовским днем около семи тысяч человек, чтобы приобщиться к артельной работе, внести свою лепту в строительство часовни, поболеть за мастеров, которые должны были «скрестить» топоры в конкурсах плотницкого мастерства.

А какие корифеи плотницкого дела собрались тут! У плотника Александра Пронина из деревни Липовицы в хозяйстве целый плотницкий арсенал, начиная от старинного отборника, которым прежде вагонку делали, до самого обыкновенного топора. Так вот одних топоров разного назначения у Пронина около сорока штук. Заглавный топор называется Ведущим, второй — Заместителем Ведущего, третий — Помощником Заместителя и так далее. Топорами этими Пронин срубил в своей деревне красавицу часовню, сам и лес заготовил, сам и корил, и «лапу» рубил, и кресты ставил. На празднике у многих зрителей симпатии были на его стороне.

А вот Николай Иванович Крылов из славного города Тотьмы приехал на праздник с особенным топором. Кривым. Но у топора было кривое не топорщице, а само лезвие, чтобы было удобнее чашу рубить. Некоторые плотники, не ожидавшие такого подвоха, тут же бросились к кузнецу Николаю Дитятьеву с просьбами загнуть и у них топоры. Николай загнул, но, как оказалось потом, дело не в загибе все-таки, а в мастерстве. Победа-то досталась плотникам, которые работали самыми обыкновенными топорами.

Николай Варзанов, плотник из маленького городка Красавино, сразил журналистов. Стало известно, что накануне Варзанов брился топором. Оставил как на грех бритву дома. Так за Варзановым толпы журналистов ходили, просили бриться топором вновь и вновь. И Николай брился, хотя брить уже было нечего. Но чего не сделаешь ради славы.

Работы по сборке часовни во имя Ильи Пророка начались еще затемно. Вместе с плотниками на срубе стояли и губернатор области Вячеслав Позгалев, и ваш покорный слуга – автор этих строк. И никто не мог упрекнуть нас в неумении владеть топором и рубить чашу. Особенно отличился губернатор. Его работа и ловкость имели единодушное одобрение плотников и остальных участников праздника.

Весь день кипела работа и бурлил праздник. Соревновались не только плотники, но и зрители. Кто тесал топорщица, кто вырубал чаши на венцах новых торговых рядов, кто показывал мастерство и удаль в раскряжевке и колке дров. Сам губернатор вручал награды победителям. А после награждения был концерт, который дали сами плотники. Оказывается, они не только мастера топорами махать, но горазды петь и плясать, на гармошках играть. Талант он всегда многогранен.

Задолго до захода солнца строительство часовни было завершено. Надо было видеть, какими просветленными и счастливыми были лица людей во время молебна и освящения ее. Должно быть, народ поверил в себя, поверил в свои силы, понял, что с Божьей помощью, миром всем можно горы свернуть.



Содержание

7	Вологодский характер
11	Свет в оконце
15	У Христа за пазухой
17	На волоке Славянском
26	Кирилловская
28	На своих дрожжах
33	Все до копеечки
35	Сказания о вологодской корове
44	Никольский таракан
45	«Рожденный тяжеловозом»
51	В отставке
52	От земли
56	Менистр Олеша
57	Темная бутылка
58	Полкила погibly
59	Сенокос в Тринадцатом квартале
66	Зимовье на Ягрыше
68	С царем за самоваром
73	Здравствуй, Наталья Петровна!
74	Костыль солдата Глухова
79	Шинель
80	Жил-был поэт в России
85	Дома
86	Хождение встречь солнцу
89	На авось да небось
91	На медведя
105	В Лодейке
106	Затерянный рай
111	Посидела...
112	Танец маленьких лебедей

121	Прионежская уха
130	Тайна русской печи
132	«Толците и отверзется»
137	С трубой, но без дыма
139	«Каракатица» против джипа
146	Элементарно
148	Кузнец Дитятьев
149	Поэзия глиняного горшка
150	Дед Генаша и его «Зингер»
151	Восставшая из пепла
154	Народный Корбаков
156	Прялкина душа
158	Пожарищенские посиделки
161	По деревне шла и пела
165	С деревенского пива – человек на диво
167	Рецепт молодости
169	А мы с товарищем...
173	Под гармонь...
175	Богатыри Сухоны
178	Чувство хозяина
180	Железный Самсон Вологодский
183	Тарелка щей для чемпиона
185	По волчьему следу
189	«То ли буйвол, то ли бык, то ли тур...»
192	Что русскому хорошо, то немцу – смерть
194	Все слова на «О»
195	Хозяйство Ломова
198	Настой из екатерининского пятака
201	В узилище
203	По холодку
205	Чудеса за околицей
208	Холодно!
209	«Что я вам скажу...»
211	«Свинарка и пастух»
212	Не положено!
215	Паломница
218	Топор – не в укор



ББК 65.9 (2...)

Е 93

СВОИМ УМОМ

Анатолий ЕХАЛОВ

В книге использованы фотоснимки
Владимира Сварцевича,
Виктора Корнюшина,
Татьяны Мишуриной,
Александра Торопова,
Дмитрия Вахрушева
и из архива автора.

Автор-составитель Анатолий Ехалов
Оформление Дмитрий Воронцов
Корректор Светлана Узкая

Издательство «Арника», г. Вологда.
Лицензия на издательскую деятельность ЛР №063462.
Выдана 15.06.1994 (продлена 08.07.1999)
Комитетом Российской Федерации по печати.

Тираж 3000 экземпляров.
Отпечатано в ООО «Букмастер»
193144, Санкт-Петербург; ул. Моисеенко, д. 10

Ехалов Анатолий Константинович
Своим умом / А. Ехалов. — Вологда, Арника, 2001 — 256 стр.

65.9 (2 – 4 Вол.) – 08

ISBN 5-89137-015-8